

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

дмитрий
гаричев

мальчики
и другие

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

18+

Дмитрий Гаричев

Мальчики и другие

«НЛО»

2023

Гаричев Д.

Мальчики и другие / Д. Гаричев — «НЛО», 2023

ISBN 978-5-44-482340-4

Дмитрию Гаричеву удалось найти особую выразительность для описания жизненного мира героев, чья юность пришлась на 1990–2010-е годы. Они существуют словно бы внутри многомерной болезненной фантазии, которая, однако, оказывается менее жестокой, чем проступающая реальность сегодняшнего пустого времени. Открывающая книгу повесть «Мальчики» рассказывает о своеобразном философском эксперименте – странной «республике», находящейся в состоянии вечной симулятивной войны, за которой, конечно, угадываются реальные военные действия. Следуя за героем, музыкантом Никитой, читатель наблюдает, как историко-политическая игра, порожденная воображением интеллектуалов, приводит к жестокой развязке. В книгу также вошел продолжающий линию повести цикл «Сказки для мертвых детей» и несколько отдельных рассказов, чьих героев объединяет страх перед непонятым для них миром. Его воплощением становятся легко угадываемые подмосковные топосы, выполняющие роль чистилища, где выбор между сном и явью, добром и злом, прошлым и настоящим почти невозможен. Дмитрий Гаричев – поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книги «Lakinsk Project», вышедшей в «НЛО».

ISBN 978-5-44-482340-4

© Гаричев Д., 2023

© НЛО, 2023

Содержание

Мальчики	6
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Дмитрий Гаричев

Мальчики и другие

Новое литературное обозрение

Москва

2023

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Г20

Редактор серии – Д. Ларионов

Дмитрий Гаричев

Мальчики и другие / Дмитрий Гаричев. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Дмитрию Гаричеву удалось найти особую выразительность для описания жизненного мира героев, чья юность пришлась на 1990–2010-е годы. Они существуют словно бы внутри многомерной болезненной фантазии, которая, однако, оказывается менее жестокой, чем поступающая реальность сегодняшнего пустого времени. Открывающая книгу повесть «Мальчики» рассказывает о своеобразном философском эксперименте – странной «республике», находящейся в состоянии вечной симулятивной войны, за которой, конечно, угадываются реальные военные действия. Следуя за героем, музыкантом Никитой, читатель наблюдает, как историко-политическая игра, порожденная воображением интеллектуалов, приводит к жестокой развязке. В книгу также вошел продолжающий линию повести цикл «Сказки для мертвых детей» и несколько отдельных рассказов, чьих героев объединяет страх перед непонятным для них миром. Его воплощением становятся легко угадываемые подмосковные топосы, выполняющие роль чистилища, где выбор между сном и явью, добром и злом, прошлым и настоящим почти невозможен. Дмитрий Гаричев – поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книги «Lakinsk Project», вышедшей в «НЛО».

Иллюстрация в оформлении обложки: © Photo by Stephen Radford on Unsplash.com

ISBN 978-5-4448-2340-4

© Д. Гаричев, 2023

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023

© ООО «Новое литературное обозрение», 2023

Мальчики

*Патруль прикладом стучит на крик,
Капли летят брызг дождевых,
Нагибаясь, псу говорит старик:
– Их двое, и мир для них.*

Николай Тихонов

1

Дождь не истекал вторую ночь: придвигался и отходил, висел на паучьих турниках, рассыпался от убежищ за разогнанной в мае больницей, и в доме налилась гулкая, древесная глухота. Черная зелень, отяжелев, свесилась к нижнему этажу. За училищами в глубине улицы, как и прежде, изнывала невыясненная сигнализация: Глостер с чужих слов уверял его, что ни одна из команд, отправленных для разбирательств, не вернулась в порядке; греко-римлянин, конечно, смеялся над ним, но Никита не раздувал в себе лишней обиды. Глостеру никогда не везло, с кем бы он ни сближался, чего бы ни плел, и неточная почва уже оформлялась у него под ногами, сказали бы многие: большие дни и вечера, когда он, не скрывая сияния, присутствовал в первом ряду, прекратились давно, сохранившись лишь в дерганных записях на опустевшем канале, но и музыка стала другой, слава стала другой; отстающие же подвергали Никиту печали, и он начинал сторониться любых разговоров о них.

Он потянул окно, впуская шумящий воздух; комната поплыла за спиной под стенание сирены. Веревоочный старик спал, ровно держа просвечивающую голову. Тощее одеяло он скомкал ногами; Никита разжал синеватые колени, достал и поправил зажеванное. Он был еще слаб от последней болезни, но ему не лежалось, не думалось; адмиральская мебель, захваченная на раскопах плехановцами, подавляла его по ночам, якобы неприятельский флот. Все втащили к нему, пока длился их госпиталь-фест, предварительно умыкнув у него из гримерной ключи; возвратившись к полуночи после всех церемоний, он застал старика на бескрайней кровати с якорем в изголовье и пришлепнутым к рыму плехановским стикером. Для него же достали обитую синим и золотым софу легких кровей, неуместную для сна, длинный, как целый вагон, гардероб, книжный шкаф с наугад выбранными книгами и громоздкие кресла на страшных змеящихся лапах, которые Никита неделю спустя уступил детсовету, занимавшему слитый бассейн.

Стащив отсыревшую от бессонницы майку, он спиной положился вслепую на гардеробную дверь, стараясь остыть; повыше поясницы присосалась латунная накладка. В комнате вспыхнула молния, и Никита увидел себя синеватым, преломленным, ему захотелось одеться; здесь же с лестницы донесло неприязненные голоса поднимающихся зрителей и согласное вяканье раскрепощенных перил. Он со всхлипом отлип от двери и прильнул к прихожей, предуготовляясь к ночным новостям; как всегда, он метался, как лучше предстать им: концертное платье, как Никита много раз это видел, ввергало их звенья в болезненный ступор; в то же время гражданский хлопок, брошенный в эвакуацию и разошедшийся в городе без всякой привязки к заслугам, упрощал разговор, но усыплял в приходящих готовность вдаваться в подробности, что было тоже невыгодно. Все-таки он укрылся хлопчатой болотной футболкой с нечитаемым в темноте отпечатком и увереннее подвязал беговые штаны; руки его повисли, и музыки в них было немного. Они протоптались снаружи еще минуту, прежде чем позвонить;

Никита успел обмякнуть в локтях и коленях, угадав их смятение. Смотрители привели землистого ординарца с алголевской меткой на плече и болтающейся нижней губой; выяснялось, его приглашали на острова: лето было еще высоко, ночи взыскующи; под завесой сплошной воды лучшие из неспящих соревновались в неуравновешенной стрельбе, бранясь с секундантами после каждой промашки. Он не слишком любил эти выезды, но, преследуемый сиреной, был рад избавлению; пока посыльный договаривал, он достал с вешалки островные одежды и скрылся в спальне, не тратя лишних слов.

Во дворе, перемалываемом дождем, Никита убрал голову в капюшон, как заложник; до ближней пристани вела пешая колея, огибавшая больничный двор с раскисшей гуманитарной фанерой, футбольное место и котельный городок, лишь недавно раскрашенный. И большая сегодня возня, спросил он у провожатого, когда смотрители отстали от них; ординарец взглянул помутненно, но быстро нашелся и рассказал, что еще неизвестно, куда все идет, поскольку с Трисмегистом на острова пришел катер с немаркированным грузом, о котором можно только гадать. Прибыл ли Лютер, спросил еще Никита, сам того не желая; Лютер два дня как болен, объявил ординарец, находится дома в жару, вчера приставили доктора. Кто же занят на срисовках, удивился Никита, повышая голос; о срисовках не распоряжались, отвечал провожатый. Это было сомнительно, но Никита не стал ничего уточнять; они миновали футбольное поле, и с котельной стены, он дождался, зажглась высокая люминесцентная надпись: РУСНЯ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, остальное сейчас не читалось. От светящейся краски Никита вообразил, как страдающий Лютер лежит у себя в комнате и окно его видится снизу горящим от жара: оранжево-красным. За котельной они свернули к доносившейся реке, и асфальт прекратился под ногами; поднялись размашистые тополя, ветер сделался резче. Река открывалась сперва нешироко, слабо тронутая лунным сдавленным блеском; от нее пахло ржавчиной и молоком, как всегда по ночам. С пристани долетали отрывистые голоса: переправный взвод строился к их появлению, а за десяток остававшихся шагов над железными воротами зажглась гирлянда, не снятая с Нового года; это была новая выходка, и Никита совсем повеселел. Ординарец поторопился толкнуть ворота и, не успев, соскользнул ногою в грязь, но стремительно выбрался и доделал, что начал. На пристани, обнесенной огнями, дождь метался заметней, и выстроившиеся взводники всматривались в него с оживлением; ответственный выступил к ним из темноты, представляясь, но Никита не смог разобрать. Видели ночь, успел сказать он встречавшему; тот отозвался как следует, но без большой охоты и повел их к воде через залежи списанных катамаранов, сложенных кое-как и ничем не покрытых. Никиту задел бесцветный ответ, но сообразить подходящий упрек времени не хватило; ординарец, прыгнув в катер первым, пошевелил управление и пригласил его усесться. Ответственный раскидал канаты и вытянулся в струну, углы его воротника белели в промокшей мгле.

Острова лежали в двух минутах от общего берега; регулярные части, предводимые Почерковым, предпочли превратить это место в избранный сад, чтобы баловать праведников и дразнить недопущенных; если это последнее и удалось, то не слишком, сказал бы Никита: игры, ставшие главным гвоздем островного досуга, не особо заботили дальнюю публику. Регулярники, однако, расчистили острова от лежняка и столетнего мусора, сделали скважины и вернули бейсбол; полигон же остался неживленным: Почерков сам не знал, что ему делать с квадратами рассыпающегося покрытия и неразобранными складами, к которым не прилагалось описей. На игры он, более прочих вложившийся в их заведение, никогда не являлся, и Никита опешил, разглядев его теперь на причале с приветственным жезлом впереди вспомогательной шеренги «Алголя». Так-то, Никита Евгеньевич, рассмеялся полководец, всех ожидает одна ночь, как популярно писали у вас на тетрадках; рады видеть под общим покровом, смотрите под ноги. Никита обнялся с ним, не убирая капюшона; алголевцы прошумели свое и рассеялись после почерковской отмашки, с ними исчез и Никитин доводчик. Трисмегист притащил что-то в катере, никто еще не разбирался, продолжал Почерков, упреждая расспросы;

больше всех заматалась команда Энвера, но это еще ничего не может означать: психический батальон! Игры между тем вялые, все как перегорели под этим дождем, или от беспокойства. Без Лютера им не блещется здесь, высказался Никита, пробуя почерковскую верность, но полководец ему не ответил; освещенная газом аллея вела их в обход полигона к вертолетной площадке, переделанной в стрельбище квестмейкерами из «Чабреца». Синие вспышки нарастали в конце аллеи, щелчки выстрелов стали слышны под дождем; Почерков переместился направо, щурясь от летящей воды. Что до Энвера, заговорил он опять, то я сказал бы, что несчастный зимний праздник, по всей видимости, повредил ему несколько больше, чем мы все заключили об этом прежде; существует мнение, что в сентябре ему предстоит санаторий. Это что-то подсказывало, но идти оставалось недолго, и Никита решил не задавать новых вопросов; скоро они вступили на стрельбище, не встречаемые никем, и поднялись на вторую трибуну, безлюдную из-за дождя.

По мишеням работали четверо, из которых Никита мгновенно узнал неугомонного Люблина в придурковатом вьетнамском шлеме, а Почерков указал на Энвера, беспорядочно переводившего патроны под боком у дремлющего секунданта. На укрытой трибуне сидело десятка три невнимательных зрителей, и Никита в конце концов понял, что игры совсем ни при чем; Саша, обратился он к Почеркову тогда, все-таки объясни мне, для чего мы находимся здесь, как давно длится это уродство на стрельбище и кого мы имеем на первой трибуне хотя бы примерно. Почерков ледяно рассказал, что стрельба продолжается уже четвертый час, а трибуна занята людьми Трисмегиста с вкраплениями некоторых энверовских присных; внизу с вечера были замечены Несс, Изегрим с группой перемещенных и Центавр с заместителями; ближе к берегу же стоят шесть палаток эстонцев. Пожалей меня, Саша, поднял голос Никита, ты говоришь, что у тебя на острове воткнуто шесть эстонских палаток, и по-прежнему хочешь уверить меня, что не знаешь, о чем это все; разве я тебе мальчик из хора? Почерков наклонил вперед большую мокрую голову, весь деревенея, и Никита успел пожалеть о настырности, но в это же самое время на стрельбище зажгли верхний свет, секунданта потребовали вернуть оружие, и Энверовы приживалы ринулись с трибун к опекуну. До поры катавшийся по областям за фарфором и старой печатью, слабый ногами Энвер стянул вокруг себя неожиданное количество похожих охотников, прогоревших еще раньше, чем он сам. На гребне признания он спонтанно и с силою высказался в защиту работников мелкого займа, что уберегло часть из них от позорных последствий, но в дальнейшем Энвер больше не позволял себе действовать так же пылко; со временем общее любопытство к нему унялось и, возможно, простыло бы совсем, но трагический фейерверк, о котором любой вспоминал с содроганием, сказался в нем так, что в недолгий срок Энвер в общих глазах превратился в неряшливого недоумка, не приемлемого ни на серьезном совете, ни в тесном застолье. В то же время его голодранцы, озабоченные единственно тем, чтобы оградить покровителя, с непременным старанием подражали Энверу, повторяя за ним говоримую чушь, обливаясь пропитками на стройкомплексе и яростно голося при виде пожарной машины. В конце этого мая их команда отметилась дважды: с промежутком в неделю на непредназначенных стенах в центральном районе возник желтый рот Лоры Палмер из приквела и огромная реплика: ПОТОМУ ЧТО В ОГНЕ Я УЗНАЛ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ! Раскаленный рот был рано замазан деповскими, но протяженные слова, занявшие одиннадцать секций забора вокруг литейного двора, провисели на месте полдня: не поверив, что к росписи не было постановления, комендант до обеда искал концы, пока секретарь не наткнулся на выложенные Энвером неприкрытые снимки обеих работ. На закраску согнали полсотни человек, а о случае рассказали главе; вечером кто-то из гамсуновских порученцев, привезший Никите сливы, поделился, что глава «удручен», но рассчитывает, что подобное не повторится. Выждав еще неделю с последней заборной истории, старьевщик с приверженцами затесался на игры и, к неудовольствию многих, получил разрешение на пробный подход; отработал удачнее всех, обойдя в том числе двух стрелков из «Черной весны», отступивших в слезах, но не стал

заявляться на основную часть из-за ног. Скупщикова сноровка застала наблюдавших врасплох, но, как становилось понятно теперь, сыграла не в пользу Энвера; на свету Никите было видно, как лицо его делается из малинового ярко-белым, а поджатые локти приплясывают на весу. Притекшие к ограждению присные, отвечая, пинали решетку и что было сил вертели головами. Не выслушивая результатов, Энвер покинул стрельбище и встал с ними рядом; вслед за тем тот же самый алголевец, что доставил Никиту, поднялся в комментаторскую и, стеснясь, пригласил собравшихся в гарнизонный парк, где вольнокомандующий Трисмегист представит для них номер с разоблачением. С другой трибуны повеяло заждавшимся восторгом, и Никита почувствовал, как тонкое пламя досады жжет его щеки; держась за Почеркова, он встал на скользкие доски прохода и кое-как стал спускаться.

Выставленные к воротам парка допризывники, сонно хорохорясь, отправляли приближавшихся к летней эстраде; Почерков пожелал им расти, но его не узнали. В деревьях светилось куда больше воротников, чем на крытой трибуне, и Никите наконец стало понятно, что о готовящемся представлении не знал лишь он сам и Энвер с подзащитными. Пластиковые стулья возле круглой эстрады были заняты все; почерковские кантонисты, присланные придержать им места, сигналили спереди, но Никита встал сразу за партером, завязав руки в узел на груди, и Почерков примкнул к нему, словно бы навсегда замолчав. На белесой эстраде сновал полусогнутый техник, перетаскивая провода; дождь как будто смыкался, и небо уже раздавалось с восточного края. Трисмегист появился без предвосхищений в лыжном костюме, делавшем его еще выше; невыспавшееся лицо выглядело желто, но стойка была узнаваемо безупречна. Пока он прилаживался к микрофону, Никита, ломая в темноте глаза, впустую высматривал Глостера в массе сидящих: все казались ему одинаковы ростом, плечами и стрижкой. Тишина, поднимавшаяся от пластмассового партера, давила на темечко; по всему, было впору светать, но ночь была неподвижна. Наконец разобравшись, Трисмегист сделал к публике лишний шаг с микрофоном в руках: чем ясней мы растем, тем уверенней сердце, произнес он огромно и просто; все, что сделано, принадлежит одинаково всем, и все, что происходит, относится к общему делу; хорошо помня об этом, мы не можем более не считаться с тревогой, относящейся до коменданта заштатной артели Энвера, чьи последние акции послужили причиной явного замешательства, не вполне нам привычного. Известно, что мы не стоим за единственность смысла в той отрасли, где теперь занят Энвер: ставка давно осудила известные росписи не за их содержание, а за побочный ущерб, и довольно об этом; а сегодняшний сбор обусловлен недавно проникшими сведениями о предполагаемых вскоре сборах при каменоломнях, о которых не был уведомлен ни один интендант. Мы не можем со всей прямоотой говорить о стоящих за этими планами, так как источники слишком разнятся, продолжал Трисмегист, но настойчивость, с которой в них повторяется имя Энвера, отягощает республику. Мы намерены теперь произвести выяснение о причине таких сообщений; принадлежности, подсказал он за сцену погашенным голосом, и двое техников, не разгибаясь, выставили на передний край подбитый железом деревянный контейнер в темных потеках.

Партер выпрямился в слабых креслах, и Никита едва успел сказать сам себе, что эстонцы странно задерживаются в палатках, когда их защищенные головы легко проступили вокруг сидящих. Трисмегист откинул хлопнувшую крышку и по одному извлек на эстраду шесть коротких широких поленьев, сложил их вместе и затворил ящик; потянувшись рукой себе за спину, он достал из-за пояса блистающий в электрическом свете молоток. Первая новость о необъявленных сборах пришла с человеком, направленным в ставку Центавром, рассказал он, что же, мы попросим Центавра подняться сюда. Безгубый Центавр встал с крайнего кресла и вышел на сцену под блеянье занимающих два первых ряда энверовцев; Трисмегист не вмешался, глаза его были усталы. В сообщении Центавра, продолжал он, указывалось, хотя бы и мельком, что съемку проекта готов обеспечить скучающий Глостер; Глостер, просим тебя. Вспыхнул бешеный шепот, и Никита почувствовал горечь под языком; Глостер вырос из сере-

дины с кофейной картонкой в руке и без спешки вышел на сцену, встав в дальнем конце от Центавра. Трисмегист на мгновение повернулся к нему, но продолжал в микрофон: к нам также дошли безымянные мнения о причастности к замыслу переписчика Формана и метролога Главка; для полноты дела мы просим их выйти сюда. Две фигуры прибавились к вышедшим прежде; эти заняли сторону Глостера, но стояли как бы в полусне, даже не взглядывая друг на друга. Трисмегист еще вызвал наверх лотерейщика Клинта, ссылаясь на старую связь между ним и Энвером по линии провальных писчебумажных поставок; Никита наравне со многими покачал головой, но Трисмегист едва ли что-то заметил и наконец произнес: поднимайся, Энвер. Прошлый скупщик порывисто встал и вспрыгнул на сцену, задев сложенные обрубки; снизу брызнул и сдался смешок, кто-то выкрикнул: «Атанде», и снова сошлась изнывающая тишина. Мы просим сожителей сохранять стойкость, как бы ни обернулось выяснение, сказал Трисмегист; что должно случиться, случится быстро. Глостер допил картонку и забарабанил ногтями по пустышке, красивый и злой. Энвер сложил руки на грудь и смотрел далеко, чуть колеблясь одной ногою. Центавр и Клинт имели вид столпников; остальные стояли без лишних отличий. Трисмегист поднял из-под ног первый обрубок; Глостер, пусто сказал вольнокомандующий; поставив поленце на крышке контейнера, он вынул из рукава длинный гвоздь и уткнул острием в середину среза, после чего тремя ударами молотка утопил его в дереве. Глостер не шелохнулся, хотя перестал барабанить в стакан; Трисмегист снова поднял обрубок, развернул его к зрителям вбитым гвоздем и убрал обратно в ящик. Снизу едва зашумели, и тогда Трисмегист сказал: Главк, в этом случае гвоздь был вбит лишь на четверть, и метролог не отозвался ничем. То же самое вышло с Форманом и Клинтом; далее Трисмегист, верный жанру, назвал Центавра и, не задерживаясь, вбил его гвоздь до конца; мелко дрогнув в коленях, китайский начальник не изменил заносчивой позы, и дальше гадатель, чуть слышно повысив голос, произнес: Энвер.

Подаваемый свет тоже сделался звонче; Никита увидел, как кренятся тела на местах и болезненно желтеют эстонские каски, уверяя его в худших предчувствиях. Из призванных к выяснению один Глостер, и то в пол-лица, смотрел теперь на остающегося, пока тот, заложив руки за поясницу, промокал языком уголки пухлых губ. С первым ударом Трисмегистова молотка из обеих ноздрей у него потянулись тонкие рубиновые нити; сидящие дрогнули, и дурнота щечкотала Никитино горло. Трисмегист ударил опять, и Энвер, пошатнувшись, издал развалившимся ртом трубный звук, от которого первый ряд пал на землю, а второй укрылся за брошенными креслами; стоящий рядом с Энвером Клинт, словно бы заболел, стал отступать вглубь, ища себе стул или кушетку. Партер стenal, как птица перед грозой; кровь из Энверова носа напирала сильней, скупщик тряс головой, спотыкался, но еще держался на ногах, когда третий удар молотка вывернул его и рвота разлетелась по сцене, не достав лишь до далеко убредшего Клинта. Закричали: «Довольно», но о чем вы, подумал Никита сквозь недомогание: если вольнокомандующий прервется сейчас, завтра вы уже скажете, что не вполне убеждены, и попросите исполнить все заново; хорошо, что он никогда не идет у вас на поводу; так что не закосни, победитель, уж раз было сказано о быстроте; я не хочу ни о чем больше думать. Трисмегист, покрасневшись, ударил еще, но слабее, чем раньше, в меру сил продлевая событие; Энвер повалился на колени и сразу на бок, ступни его обуяла чечеточная дрожь. Половина сидящих уже не смотрела, уставившись поверх соседей в парковую тьму, а допризывники казались готовыми разреваться; пока плавные эстонцы расчищали завал перед сценой, Глостер за шиворот уловил опасно плутающего по краю Клинта, и тот просветлел от его рывка. С последним ударом натрясшийся Энвер стих и улегся удобней, подоткнув локоть под щеку; Трисмегист выпрямился от ящика и убрал молоток обратно за пояс без каких-либо слов. Снизу скоро сделалось глухо, как под водой; усидевшие энверовцы не отпускали притянутых к груди кресел, но гляделись смиренно, как дети при строгом учителе. Всех как будто прижало одним потолком; началась духота, и Никита увидел, как возятся пальцы на воротниках. Снова выдвинулись

техники и собрали Трисмегистов реквизит, перешагивая через рвоту; в это время Энвер раскинулся шире, перевернулся на спину и узнаваемо запел об убитой маркитантке, чуть перевирая мелодию. От жаркого секунду назад партера дохнуло льдом; пальцы бросили пуговицы и вцепились в колени. Ведущий выдохнул в микрофон и бессмысленно покивал помертвевшему собранию; Энвер, повторив две строки, с трудом оторвал неуклюжую спину от пола и медленно сел ногами вперед, улыбаясь белым запачканным лицом. Трисмегист поднял предупредительный палец, но изнемогший партер уже надорвался и взвыл; у самого уха Никиты раздалось: «Уберите», и сам он, иссохнув от зрелища, наконец потерял в себе остаток крепости и, пустой, как Глостерова картонка, опал на стоящего сзади, слыша еще, как сминается вокруг летняя тьма с искаженными голосами внутри.

Лежа так глубоко, что можно было не дышать, он все-таки видел, как вольнокомандующий склоняется над ним с катастрофической высоты; если кто-то из ставки и обозначал подлинную заботу и вместе с ней честную горечь сожительства, то это был, конечно, Трисмегист. Он родился в один день с Никитой за две тысячи километров отсюда в офицерской семье и оказался здесь с выводом войск; в девятом классе они на две четверти совпали с ним из-за ремонта в неблагополучной Трисмегистовой «шестерке», заслужившей себе прозвище Абортарий, откуда за ним донеслась слава забитого умника; Никита как будто увлекся им, стал внимателен к ответам на литературе и обществознании, но в коридорах переселенец держался старательно отъединенно, и они не свели большого знакомства. С Трисмегистом связался отчаянный случай с записками, распространенными по классным рюкзакам в канун новолетья, когда в шестой уже завершили работы: на неразлинованной бумаге чертежным шрифтом адресату напоминалось о каком-то постыдном поступке, совершенном в течение года; щекотливость истории оказалась в том, что, как Никита смог выяснить у одноклассников, о вменяемых им прегрешениях не могло быть известно никому, кроме них самих. Так, Каримов Олег обвинялся в краже двух сторублевых брелоков из сувенирной палатки в Переславле-Залесском, куда их возили с экскурсией; сам похититель был так потрясен тогдашней удачей, что не нашел в себе сил поделиться ни с кем из автобуса на обратной дороге. Родионову Антону поставили на вид подтасовки в трех лабораторных работах по физике, не уловленные чуткой Лобковой; Мельников Игорь был уведомлен о секретных плевках в колу старшего брата на семейном отдыхе в Кемере, когда за нытье в самолете отец присудил ему бессменный наряд в столовой, а старший выхлебывал по восемь стаканов за каждой едой; малокровному же Толе Пряникову был выставлен счет за безбилетные разъезды на электричке с окраины в центр, и, хотя тайны в этом было немного, потому что в те бледные годы так катался весь город, в пряниковской записке указывалась точная общая сумма его неоплат, со злорадством подсчитанная им самим на тетрадных задворках. Никите новогодний рассыльщик попенял за случившуюся в мае нелучшую сцену с пенсионером на автовокзале, когда он не сумел подсказать нервному старику, какой выбрать маршрут, чтобы добраться в отдаленный диспансер для кожных, и нарвался на неслыханную ругань; отдышавшись от обиды, Никита разыграл целый спектакль, добежав до дежурного якобы ради справки, и затем посадил все еще явившегося пациента на крайний рейс к плавням, наказав водителю не выпускать старика до конечной, где его должны встретить готовые люди. На общем сборе тридцатого декабря избегавший до этого всех обсуждений Трисмегист вел себя неудачно: единственный отказался, хотя и почти плача от совместного напора, предъявлять и зачитывать свою записку, выдвинул как открытие версию о родительском заговоре, уже давно отвергнутую всеми, и упорствовал в ней половину собрания; в довершение же многих настроивший против себя *étranger* пропал незамеченным из четырнадцатого изошного кабинета, где шел разговор; обнаруживший исчезновение Мельников распахнул даже шкафы с гуашью и пластилином, силясь изобличить проходимца, но не преуспел. След его потерялся на многие годы, но гремучее возвращение отыграло время небытия; в дни Противоречия он первым привел свой отряд на субботний концерт, заняв до

трети зала влево от соцработников, на свой страх и риск добравшихся до ДК через непредсказуемую смежную зону. После побега заведующего никто из персонала уже не показывался в коридорах, и Никита управлялся в одиночку: отпирал-запирал все замки, мыл полы, принимал одежду, занимался рассадкой, выставял освещение и вел примитивную отчетность в оставшихся книгах. Трисмегистовы пластуны затесались, когда последний звонок был уже дан; заслышав непривычное оживление в зале, Никита, еще выжидавший за сценой, перебрал про себя худшие объяснения, но бояться уже было лень, и он, посмеявшись себе, вышел к зрителям с совершенно счастливым лицом, ни о чем не жалея.

Не стараясь разглядеть, что же вызвало волнение в зале, он задрал микрофон и заговорил, перебивая аплодисменты: добрый вечер всем, кто явился с добром и желает добра; за эти недели мы уже удостоверились, что это выбор немногих, но эти немногие не уступят земли ни сейчас, ни когда-либо потом. Зал отозвался ему как еще никогда прежде, и Никита, опускаясь за клавиши, наконец увидел, что за сборная расселась внизу: Трисмегист, осененный свежайше таможенным взятием, занимал место с дальнего края, в тени, но легко был опознан по татарской тафье, известной из листовок; от поднявшейся радостной тошноты Никита дважды исполнил вступление, а потом не узнал своего голоса, словно вместо него включили запись со школьного утренника, но скоро собрался и дальше играл без накладок, как дома. Между отделениями к нему за кулисы проник посланник в желтой крашеной куртке и рассказал, что примыкающий парк вплоть до набережной контролируется боевиками «Аорты», а четыре машины контрабандников, двигавшиеся с юга на помощь прижатым в заречье болелам, сожжены неизвестными в десяти километрах от города; он же вручил Никите листок с кое-как зарифмованным текстом, оставшимся от аортовского эсэмэщика, полегшего только вчера на подступах к парку. Желая быстрее отделаться от этой ноши, Никита итоговым номером составил импровизацию на заданную бумажку и сорвал банк: с первых слов пластуны повставали с мест, непонимающие соцработники выпрямились следом, и он застыдился своего недовольства стишками убитого; отыграв, он четверть минуты не убирал пальцев с инструмента и не поднимал лица, слушая грохот зала, пока сам Трисмегист не вспрыгнул на сцену и не отвел от него микрофон. В эти неуверенные дни, произнес он тогда, перетягивая стойку под себя, нам было удивительно узнать, что единственным персонажем из муниципальной обоймы, не раздумавшим продолжать взятое на себя, оказался автор и исполнитель из Дома культуры, без какой-либо помощи дающий среди запустения исключительные вечера, не прося за них даже и добровольной оплаты; видя это старание, мы обещаем Никите всю нашу поддержку и приставляем к ДК двух бойцов из числа пострадавших на улицах. Соцработники загалдели, а Никита почувствовал слабость; уже после всего, оставшись с ним наедине, Трисмегист проговорил, что рассчитывает на него как на голос, за который никому не будет неловко. Вблизи от него остро пахло землею и прелой листвой: это был запах правды, Никита выучил его еще в детсаду, следя в сентябре, как из-за осыпающихся тополей на подъеме земли за оградой с каждым днем все подробнее проступает шоссе, птицефабрика и, уже далеко, выщипанная усадьба, скелетик из приставочной игры; длинный мальчик, оставивший класс в так никогда не разрешившемся недоумении, распахнулся в плечах, все лицо его стало точней и пытливей, а бровь пополам разделила косая рассечина, прятавшаяся с глаз, когда он разговаривался. Объединенная Трисмегистом «Аорта» выиграла еще ранней весной, вмешавшись в разрозненные стычки на оптовом рынке и в два выхода вытеснив наезжие с Белгородчины грузовики; Глостер, пасшийся бесполезно при фермерах с выводком крепких и нерешительных юношей, снял тогда обстоятельные видео, широко разошедшиеся по сети, и так провозгласил себя в качестве корреспондента. Отмечая разгон, фермерские ряды дали два дня распродажи, и приехавший выбрать хорошую свеклу Никита вдоволь наслушался о внезапных защитниках, организованных как нельзя лучше; был томительный день набухающей ростепели, и над рыночной низиной с летящей на ветру луковой шелухой, видел он, росло как бы трудное будущее небо, все из мути

и примесей. Общественный транспорт почти прекратился, и он уехал домой с выкупленным мешком на торговой подводе, уходившей за лес мимо его поселка.

То, что освободителей рынка направлял его временный одноклассник, Никита узнал позже из вестника муниципалов, заклеивших виновника белгородского бегства как распространителя в лучшее время авторских триптиамин и соратника кровожадных движений; предлагался рассказ педагога из пресловутой «шестерки», со слов которой будущий погромщик был знаменит отвратительным образом действий с девочками, не сдававшимися ему с первого подката. Аортовский паблик тогда отмолчался, а на третий день после вброса бесчестной газеты в квартире учительши раздался несмертельный бытовой взрыв, все же разворотивший ей кухню; муниципалы в своих новостях не решились протягивать нить к Трисмегисту, чем как будто умилоствовали его: вплоть до самых боев за фонтаны, где выступили уже все сколько-нибудь уважаемые формирования, «Аорта» никак себя не проявляла, постила чужие картинки и неупругие стихи, ничего не обещая и ни с кем не завязывая переговоров. За этот промежуток взошли имена малочисленного «Чабреца-206», чьей разработкой отравилась повально ближняя часть внутренних войск, и плехановской роты, перегнавшей в свои гаражи городскую спецтехнику; в оглушительной переделке на первом мосту проявились подписчики «Зеленой библиотеки» Иваска, до того не встречавшиеся друг с другом живьем. Еще погода весновцы подломили чээсовские мониторы на проспекте и запустили с них Глостеров ролик о самоконтроле, тогда еще узкоизвестный; подростковый, но сбитый как надо «Самоконтроль» набрал таким образом многие тысячи просмотров, и к началу боев за фонтаны Глостер был уже общим возлюбленным с лучшей камерой, взятой на собранные от подписчиков деньги. По случайности в первый же вечер его, припавшего за мешки сбоку кинотеатра, достала слезоточивая пашка и открылась до того неизвестная астма; на поднявшийся хрип к мешкам цепью бросились муниципалы, и Глостер был без большого усилия захвачен на глазах у неразобравшихся школьников.

Четыре дня его продержали заложником на последнем домбытовском этаже, кормя кое-как и только по утрам; под окнами застенка, заваленного ломтями откуда-то списанной мебели, зевал захваченный сиренью задний двор, где ничего не могло случиться. Глостер ходил, раскачиваясь от голода и скуки; два занимавшиеся им надсмотрщика не разжимали квадратных губ. По тому, что его никуда не везли, можно было понять, что уличный процесс продолжался, но ему было странно, что его каземат все еще не атакован. Оставленный судьбой, он подолгу спал и все меньше двигался; на четвертый же день заточения о Глостере забыли и его сторожа; когда прошли все сроки для завтрака, до того приносимого аккуратно, он стал что было обиды биться в железную дверь, ни до чего не достучался и ополз на хладенеющий пол. Ближе к вечеру его, полувысохшего, обнаружили плехановцы, выносившие оргтехнику; муниципальный отряд ускользнул из здания ночью, подавленный успехами противников, не решив о своем единственном пленном; отваливший ведущую к Глостеру дверь без всякого такта сообщил, что ему одному выпало быть украденным с места событий. Вместе с тем вскоре после того, как его унесли, на позиции «Аорты» и смежных с ней геймеров Суллы были брошены гранадеры, под чьими ногами погибло до десяти человек, и «Аорта» с проклятиями отступила за старые бани; наставшей же ночью в военном лагере произошел дикий пожар, после которого уже ни один из карателей не встал обратно в цепь. На рассвете были без сопротивления заняты военторг, театральные кассы и центральная почта; над фонтанами ненадолго возник флаг «Весны» с циркулем вверх ногами, но отряд коммунальщиков, не задумываясь, снес его длинным шестом. Состоявшийся в военторге совет положил развернуть главный фронт в направлении радиостанции, что было исполнено; видя сильное движение в свою сторону, радийщики успели в основном разгромить аппаратную комнату и покинуть здание через подвальный ход; на поправку вещания отрядили способных из «Элевсина», но до сих пор станция не оживала. Глупый от голода Глостер спросил, не нашлась ли на проверенных этажах его камера, не выпущенная

им из рук при захвате и отобранная только здесь, и собеседник сокрушенно повел головой. Тогда узник, не в силах сносить прибывающую пустоту, попросил себе еды и вина; его вывели вниз, под слепящее солнце, и проводили до кухни, устроенной за вечным огнем; вымотанные кухари затруднились узнать проповедника, и плехановцу пришлось настоять, чтобы вино было выдано.

Втягивая жаркую лапшу из ланчбокса, Глостер осваивался на изменившемся месте: «Аорта» расположилась в ярмарочных палатках по обеим сторонам от мемориала; кое-где еще оставались вывески, предлагавшие липецкий мед и травы Алтая, а в соседней с кухней будке окопался лютеровский класс с черно-белыми открытками. В дальнем конце проступал составленный из парт редут, достигавший хорошей высоты; вдоль всей ярмарки с инспекторским видом по двое разгуливали длинные юноши в неизвестных нашивках, но представивший его к обеду плехановец уже скрылся и не мог объяснить, в чем здесь дело. Сладкий уличный воздух переполняли просвечивающие голоса. Спину военного памятника украшала теперь оранжевая запись: МАТЕРЬЯЛИСТЫ И НИГИЛИСТЫ РАЗВЕ ГОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ГОРНИСТЫ; Глостер поймал себя на том, что не помнит, как монумент выглядит спереди, и, забрав откупоренное вино, обошел широкие белые плиты: там оказались скуластые барельефы освободителей в два человеческих роста с пририсованными той же оранжевой краской женскими органами. Здесь к нему подошли двое длинных и, явно признав, сдержанно попросили быть благоразумным, имея в виду начатую бутылку; он не стал ни в чем их заверять и в ответ спросил, кто их организует; оказалось, поддержка порядка возложена на сформированную сутки назад малую ставку, а ему как известному автору следует показаться в отдел по разъяснению, посаженный в кассах. Не теряя вина, он пошел, как сказали, наискосок через мемориал; две зенитки, стоявшие ближе к фонтану и прежде нацеленные в сторону церкви, глядели теперь жерлами на исполком. Снизу них друг на друге сидели простаки-возрожденцы в характерных зазубренных шапочках не по погоде; эти выстроились бы к нему в очередь хотя бы и за подзатыльниками, и Глостер поспешил прочь с открытого места.

В синей аптеке, углом выходившей на площадь, оказался устроен медпункт; отвлекшись, он зашел оценить заведение, опустив на пороге тяжеловатое красное. Внутри полудремали два бессребреника из «Чабреца», с ходу предупредившие, что для съемки им нужно побриться; Глостер рассказал им об отнятой камере, и они без большого сочувствия выдохнули и поникли в вертящихся креслах. От этих он узнал, что в центральной больнице, вполголоса заявившей о нейтралитете, при не вызывавших доверия обстоятельствах скончались четверо раненых при воскресном штурме; собранную же для расследования рабочую группу от формирований не допустили ни до документов, ни до собственно тел. Трисмегист, никогда, как известно, не терявший задумчивой выдержки, в этот раз был как в нервном припадке и порвал наработку воззвания к служащим, плод муторных прений; разбирательство было, однако, отложено от нехватки подходящих сил: исполком укрепился переброшенными полуказаками, наварил на забор еще кольев и вывесил на балконе манерную растяжку НА ТОМ СТОИМ. Глостер попросил себе укол глюкозы, ссылаясь на истощение; его ткнули не особо набитой рукой, и ужаленное место болело до самой ночи. После аптеки он спустился на улицу вниз, мимо растоптанного со всем скарбом «Велодрома» и спортбара, теперь источавшего хлорную вонь; кассы были уже за углом, когда возрожденцы настигли его, и Глостеру пришлось как попало отшучиваться, стараясь не завалиться от их прибоя. Отступив в конце концов к нужным кассам, он был встречен уже в дверях кем-то из секретарей в рыжих крапинах; за загруженными чепухой столами ковырялось с десятков человек, никак ему не известных. Тот, что выглядел старше других, без выражения назвался ответственным и сразу пообещал, что, как только исправится ситуация с радио, Глостер будет приглашен неразменным ночным ведущим и сам сможет определиться с удобным форматом; это было не то, на что он бы хотел быть употребленным, но сама перспектива казалась еще далека. На обратной дороге его встретили те же двое, что напоминали ему

о приличиях около монумента; улыбаясь как надо, они протянули Глостеру его камеру, объясняя, что вольнокомандующий Трисмегист, узнав о случившемся, распорядился о стремительном обыске плехановских накоплений на почте, что и увенчалось счастливой находкой. У них это в крови, примиряюще объяснили ему: муравьиная кровь! После того как съемки признали слабейшим из искусств, Глостер вспоминал эту сцену как бы из тюрьмы; в долгие вечера он один уходил на горячие пустоши за поселок резинотехников заниматься закатами под урчание насекомых. Никита видел эти работы и не из одного сострадания хвалил, понимая вполне, что не в силах и близко заделать провала в приятеле; оседающее солнце вселяло в пески уловимую дрожь, и земля западала и старилась, будто бы ничего не хотела и уже ничего не ждала.

Опомнившись в комнате у Почеркова, сидящего над его постелью в одном белье, Никита пролежал без слов какое-то время, пока хозяин не почувствовал на себе его взгляд; тогда полководец грузно повернулся к столу и подал ему заготовленное питье: Трисмегист сожалеет, сказал он кренясь; мне тоже жаль, не сомневайся. От груди его пахло слежавшейся хвоей; в выключенном жилье угадывался гражданский бардак. Думаю, я продвинулся в списках на санаторий, ощупался под одеялом Никита; он давно не бывал здесь, хотя и любил этот вечно не убранный дом со скулящими полами и окнами на укрепления. На своих малых метрах Почерков не скрывался, и усталость читалась в нем ясно, как на объявлении; он взялся здесь из-за Урала, с диких застав, состоял теоретиком при чрезвычайной части, занимался в литобъединении, а в разгар майских дел вышел в погонах к фонтанам с подборкой стихов и читал о «последней свободе» и «ничьих именах», пока муниципалы не подстрелили его из пейнтбольного ружья. Заляпанный краской, он рухнул на площадную плитку и был оттащен добежавшими школьниками; узнав о расстреле из чьего-то пересказа, Никита попробовал выпросить у Почеркова тогдашние тексты, но военный отказал, заявив, что те отслужили свое у фонтана. Этот ответ подружил их, и в прошлую осень, когда шла лавина декретов и формулировок, они просиживали здесь ночи за разбором вестника, считая слова и загадывая об успехах до Нового года под негромкий *Mogwai*, приносимый Никитой; это было время легких ожиданий и короткой памяти; лежа сейчас в почерковских подушках, он грустил о нем, словно о никогда не рожденном ребенке. Саша, подал он голос, почему нам так скучно все это последнее время, что меня опрокинул с ног поющий мертвец, что ты скажешь? И, пожалуйста, объясни, сколько еще продлится эта ночь; по-хорошему, рассвести должно было еще на спектакле. Почерков улыбнулся одними глазами: ты проспал почти сутки, исполнитель, сейчас три утра. У тебя определили переутомление; конечно, не стоило трогать тебя, пока ты не слишком вынослив. Никита с усилием сдвинул одеяло и сложился пополам; я приготовлю тебе поесть, сказал Почерков, никуда не срывайся.

Пока полководец занимался на кухне за дверью с зеленым стеклом, Никита успел снова выпасть из жизни; хозяин очнул его, вернувшись с фасолевым супом и тостами: еще минус сутки, сладкопеец! На охоту пришлось отправлять детский хор, предварительно выпоров. Пощади меня, Саша, приподнялся Никита, принимая ложку, этот хор еще переохотит всех нас, только дай натаскаться. Ешь и не задавайся, проговорил Почерков; Гленнов корпус выделил тебе какие-то средства, их не пьют натошак. Хочешь ли знать, первый ряд по итогам весь в нервной палате; но эти, конечно, повредились еще до того. Во сне ты жаловался на дождь, едва ли не в рифму; я было подумал, что у тебя начинается период тихих песен, и даже не знал, стоит ли радоваться за тебя. Скверный дождь, отозвался ему Никита, не опасайся так, я еще наработаю маршей для ваших собственных процессов, можете положиться. Он прилег к стене, и тарелка в руке его дрогнула. Ветер со стороны укреплений навалился на окна, вынуждая их петь; в голове было холодно, как у реки. Это лето всего только перевалило вершину, сказал Никита, а я уже жду, когда здесь ляжет снег, хотя это и невероятно представить; я не знаю, как это поможет мне, но для чего-то надеюсь. Почерков сместился на пол, сел спиной к кровати и опустил затылок в ноги Никите; голова его была тяжелой, как камень. И все это длится уже так

давно, что я сам будто бы постарел на десяток лет за этот промежуток, пока остальные бились за то, чтобы всем доказать свою молодость, произнес он; интересно тебе или нет, но неделю назад Энвер выходил на меня в наилучшем виде и узнавал, не готов ли я прочесть краткий курс пиротехники на планируемых сборах, как он это сам называл, «без необязательных лиц»; разумеется, я первым делом спросил, что на этот счет думает ставка, и он тотчас же стих и оставил меня без продолжения, даже не потрудившись хоть чем-то замять эту глупость. Ты, должно быть, догадываешься, как нелепо мне было сидеть перед сценой, когда началось выяснение; то, что я не был вызван к экзамену, думаю, объяснимо лишь возрастом: я бы мог повредить чистоте постановки. Никита вывернул ноги из-под его головы: странно, я разучился жалеть одного человека и жалею всех разом, как будто это мы все не вернулись назад. Когда ребенком меня уводили из театра, я боялся подумать, куда исчезают все те, кто только что проживал для меня такую высокую жизнь: занавес слизывал их, а мы даже не брали программки на память о них; теперь же я боюсь думать о том, куда делся весь зал; благо, ты посвятил меня в судьбу первого ряда. Не будет ли любопытно отменить летний полуотчетный концерт, то есть перенести его из дэкашной лепнины в лечебницу к новоприбывшим энверовцам, как тебе это кажется? Там приличные потолки и когда-то стоял инструмент, если я правильно помню. Там лечили моего отца, я носил ему газеты по средам и пятницам; никакая подробность, само собой: всех отцов там лечили. Заглянув наконец себе в ноги, Никита увидел, что Почерков спит, выкатив гипсовый кадык. Оставленный на кухне свет вздрагивал от ночных перепадов.

Доезжачие подняли их в половину седьмого, когда солнце прошло укрепления и наполнило комнату; у отекавших предметов пропали углы. Переступив на полу через медленно оживавшего Почеркова, Никита отыскал и поставил вариться кофе. Над умывальником был навешен пустой чешущийся оклад от Покрова, позабытый им за то время, что он не ночевал здесь; шалый со сна, Никита сперва потянулся пальцами внутрь овальных пробоинок, но на полдороге отдернул руку. Пятнышки темноты в металлических лунках не вымывались от напиравшего солнца. Небо двигалось без облаков, торопливо и низко над островом; по гарнизонному радио, слышному в незатворенное окно, читали «Жизнь насекомых», главу о конопляных клопах; Никита залип, вспоминая, как ездил читать ее в центральную библиотеку, и едва не упустил кофе на плиту. Почерков, еще сидя на полу, бесшумно водил над собою гантелями. По ершовым молитвам Бог отозвал дождь и слякоть, поприветствовал он вышедшего Никиту; тот накренил над его вытянутыми ногами чашку, но Почерков успел поджать колени, и кофе попал на паркет. Под окном проиграла второй подъемный сигнал, и отвердевший полководец, в два прыжка достигнув окна, показал ожидающимся *bras d'honneur*; снизу радостно захохотали. Никита постарался спрятать улыбку и тоже поднялся, отрясая последнюю лень; внизу с доезжачими оказались юнкоры с планшетками: этих в замкнутом классе натаскивал Берг, в предыдущие времена послуживший народу в столичных позорных листках, во имя которых многаяжды был бит и гоним вдоль по улице; младших он восхищал на раз-два, и они подражали учителю во всякой фразе, как говорящие куклы. Почерков покивал им, не тратя каких-либо слов: о нем самом никогда не писали заметно, а всегда с осязаемым пренебрежением, как об отработанном паре.

Доезжачие объявили, что причастные собраны снизу от укреплений для приличной отправки; как угодно, откликнулся Никита и пошел впереди, втянув голову в плечи от солнца. Бетонные валы в несмываемых рыжих разводах, запиравшие ветер с реки, словно бы уверяли его в себе после суточного забытья, но ногам было все еще трудно не путаться. Сразу за укреплениями ветер хлопнул в лицо, ослепляя, но Никита успел распознать среди стоявших у воды Центавра и Несса; сбавив шаг, он дождался, пока его обгонит Почерков и другие, и так скрылся за ними от рукопожатий. Обличитель Энвера все же просунулся и спросил о здоровье, и Никита с трудом удержался от ответной колкости; Центавр, прошлый распорядитель подземной стоянки, не показывавшийся на поверхность все Противоречие, предложил себя в крайний

отдел уже после того, как окончились конкурсы, а списки принятых раздали расклейщикам, и был взят по итогам единственного разговора с Трисмегистом, продлившегося якобы не больше пяти минут. Водники подали к острову катера из помятых, а на ближнем к Никите вдобавок оставалось несбитым клеймо муниципального флота; это было нелепой промашкой, но Никита даже не кивнул на это Почеркову, не желая его волновать и терпеть, пока водники пришлют на замену другое средство. Все же, когда объявили посадку, он поднялся на меченый борт, таща с собой и полководца; эти разносчики, увидишь, поженят нас в новом номере, предупредил его Почерков, глядя в сторону мальчиков и присаживаясь с ним в хвосте; Никита свесился к едва синеватой воде, не ответив. Их катер отвалил последним и пошел отставая; разместившиеся рядом с ними сидели не оборачиваясь, и ветер сотрясал их одежду так, что Никита не пробовал никого угадать со спины. Завсегдатаи стрельбищ избегали охотничьих сцен, презируя простую удачу; больше ездили разженившиеся из снабженцев, одутловатые мастера из реальных училищ и тоскующие без работы спасатели с дальних полигонов. Знаменитое место в устье, к которому, как легко было понять, они шли и сегодня, ничем не нравилось Никите: безразмерные сосны обставали приподнятый в виде слабого купола луг, глубже в лес залегали тягучие клюквенные болота; еще дальше на северо-запад начиналась полоса безответственности, о которой не любил вспоминать никто, кроме отселенного долой с общих глаз Корка, в лучшие для себя дни предлагавшего смелый проект для этих земель и известно завернутого вместе с ним: по всей видимости, глава счел, что командующий имеет в виду вырастить оснащенную вотчину с плохо предсказуемым развитием, и немедленно рассыпал такие потуги. Полоса после этого в краткое время одичала так, что в ней вымерла и контрабанда; Корку же поручили работу над необучаемыми, прокаженским полком, как он сам их когда-то поименовал, и прозвище пристало. Не сживаясь с упадком, Корк насиловал и валял доставшихся ему растян с неузнаваемым рвением, как это пересказывали Никите из госпиталя, но по тем же рассказам штрафники не испытывали к наставнику ничего, кроме жгучей любви; их чинили, вытягивали и скрепляли, и отправляли назад в разработку. Корк был, видимо, волен растереть их в песок: в дисциплинарных перечнях, выставляемых в пятницу утром к фонтану, его имя не проступало никогда. Пока он был всем виден, Корк казался Никите не умевшим следить за собой болтуном: когда речь заходила о невыясненных пропажах в полосе и все привычно серели лицом, он невпопад легчал, качал на всех головой и нараспев объяснял, что при необходимой сноровке полоса обеспечит их большим, чем повести о растворившихся в ней статистах и осведомителях. Отвращенный началом, Никита пропускал все дальнейшее мимо себя; впрочем, окончательная ссылка выдумщика никак не удивила его, в отличие от остальных, еще долгое время потом разводивших руками, но он допускал, что растерянность эта была нарочной. Корк еще говорил, что уступит мизинец тому, кто первым воспримет его построения всерьез; получил ли глава такой подарок, Никита не знал.

Они высадились в удаленном ивняке, на уступчивой почве, и разобрали указанный доезжачими схрон: Почерков не копаясь взял себе американскую «Дельту» и без предисловий запел «Маркитантку»; подтянули немногие, но и по лицам отмалчивавшихся Никита почувствовал, что худшее миновало, и впервые за многие дни ему стало легко и послушно, как отличнику десяти лет. Когда все было выбрано и причастным раздали маски, они выдвинулись сквозь плакучие заросли на искомое место, к вечносияющим соснам; на снедаемом солнцем лугу, как надутый, дрожал и наливался Трисмегистов шатер, уступаемый вольнокомандующим для охот, в то время как сам он был знаменит расстройством, не допускавшим прицельной стрельбы. Навстречу с травы поднялись четверо с признаками шифровальщиков из «Умлаута»; этих, как понял Никита, заставили провести ночь снаружи, как всех начинавших; вид у них был несветлый, но скорей глуповатый, чем грозный, как случалось обычно. На их шум из шатра появился румяный подсказчик, зажимая одними ногтями болтающийся от ветра листок с легендой; вслед

за ним возник Гленн со спортивным стаканом в розовой от ожога руке и сказал, что санчасть приготовлена, но желает сегодня остаться ни в чем не замешанной.

Подсказчик объяснил, что стрелковые цепи должны залегать по бокам от проезжего места на протяжении от шавелевой площадки до иловых карт, где уже рассажены получившие приглашения допризывники. Теперь предлагалось разобрать по желанию пледы из выставленной у шатра корзины и пройти на участки; Никита, не заглядывая, достал пакет с хорошо упакованной тканью и отправился с причастными вглубь сосен, задремывая после речной прогулки. В деревьях на них пала неровная тьма; остатки дороги, вдоль которой было указано расположиться, прятались в землянике и папоротниках, уходя далеко в едва прорезаемый сумрак, пахнущий промоченным мхом. Лес, ничем не известный ни прежде, ни теперь, понимался скорее как груз, доставшийся им так же, как достались переполненные больницы, залежи шлака на северном выгоне и муниципальные памятники выдуманным императорам и патриархам, до которых по-прежнему не доходили руки: еще год назад, когда все изнуряли себя неприменимыми к жизни вымыслами, один переплетчик помогался до главы, убеждая того свести все деревья в излучине «ради бергмановской ясности», но был отвергнут, и Никита не знал, хорошо это вышло тогда или дурно. Лес являлся ему испытующе, но вопросы его как будто не ждали ответа, а единственно смущали незащищенное сердце; волокно этой связи вилось неисследимо, но слышно сквозь шум ветра и слабую птичью возню; медные сосны выгибались назад, застывая как проволока. В этом тоже водилась заметная музыка, развивалась по-своему и сама остывала, но всегда оставалась ничьей, неберущейся, и Никита не мог до конца догадаться, что ему с этим делать; он шел мимо нее как подростком мимо нечистых компаний в саду за школой, провожавшей его клокотанием духовых из мансарды: сад запросто обходился по периметру, но его увлекало сбивчивое дыхание угрозы по оба плеча, так ни во что не слепившееся и ничему не научившее его. Он вырос в квартале за станкостроительным, зимами спотыкался о замеченные рельсы и заглядывал греться в натопленные проходные; прикасаться рукой к панцирю грузового вагона для него и тогда, и сейчас было понятней, чем трогать живое дерево. Можно было из розыгрыша подозвать мальчиков и огорошить их старческим воспоминанием о тогдашних снегах, выпадавших вдоль хвостового отсека, но Никита сдержался, чтобы не приваживать их.

Несколько причастных уже отделились от общего похода и легли по легенде, их почти не было видно в траве; это все облегчало, и он, помогая зубами, распечатал плед, расстелился и тоже улегся, подпершись одной ладонью. Его мальчики, как это было, похоже, условлено, ушли на десяток шагов вперед и, изображая ссору, стали на месте; он недолго прислушивался к их игрушечному щебету, повторяющемуся и сбивчивому, и скоро провалился в молочный полусон, словно бы вынувший из него позвоночник, но оставивший узкое зрение, как если бы он наблюдал сквозь пробоину в толстой стене. Лежа так, он увидел, как в этом стиснутом поле бесшумно возникла первая девочка на «Мериде» с перехваченными лиловой банданой волосами, вся похожая на увеличенного богомола; золото ее маленьких кроссовок было приторно лживо, грудь почти не читалась под курткой, а широкие ноздри подрагивали на неровностях. За ней прокатились трое таких же длинных, но коротко стриженных, чему-то смеющихся; эти выглядели как сестры, сбежавшие с занятий, и обувь их была белоснежна, как искусственные облачка. Следующая, тяжеловатая, с не дрогнувшей между лопаток мясистой косой, везла на себе сумасшедший гербарий турслетовских лычек и лент «по следам» и «вдогонку»; крупная, как слепень, родинка сидела у нее на губе и как будто клонила всю голову вниз. Не покидая своего забытья, Никита узнал в ней параллельную Дашу из педа, тогда повернутую на Цветаевой и околославянских плясках; кажется, она успела переселиться за полосу еще до первых событий. Дальше прострекотали две возрастные в платках, с гусяными шеями и восковыми ногами; на одной висел тощий рюкзак с растресканным принтом САНАКСАРЫ, ни о чем ему не сообщавшим. Озадаченный этим, он приподнялся на локтях, провожая глазами нелепое слово, и

тогда же мгновенный плевок желтой краски забрызгал половину рюкзака, скрыв под собою и надпись, а другой, пришедшийся спереди, сбил наездницу наземь; вторая, выжав свистнувшие тормоза, соскочила на помощь подруге, но была тотчас встречена выстрелом точно в лицо и свалилась, забила ногами. Та, что пала первой, стащила с заостренных плеч рюкзак и, кое-как укрываясь им, попыталась ползти обратно; спустя три или четыре метра карминный заряд угодил в незащищенную шею, а следом над ней разорвалась с хлопком пачка спонсорской муки, засекая дорогу отпустительным белым.

С этим звуком к Никите вернулась прежняя подвижность, и он встал посмотреть, как далеко уехали первые пять странниц. Пройдя совсем немного назад, он нашел Дашу, которая лежала, подобравшись, на левом боку и несильно тряслась, зажимая лицо двумя руками; от головы до колен ее крупное тело изрисовали горчичные и малиновые кляксы, из травы голубела оторвавшаяся от рамы бутылка, а невдалеке от подранка возвышался с ружьем типограф Клейст, очевидно уже какое-то время расстреливавший ее так. При виде Никиты Клейст медленно улыбнулся и чуть отступил, все же не опуская оружия: он был легко пьян и небрежен сейчас, но в глазах его Никита угадал проступивший испуг. Почувствовав приближение, сбита девочка откатилась вслепую еще в сторону стрелка, и Никита не стал здесь задерживаться; тем не менее он успел увидеть, как Клейст поднял на плечо двухкилограммовый пакет муки, подошел к млеющей жертве и метнул его в Дашин затылок, но взрыва не вышло, как в школе иным не везло с пакетом от сока. Никита шагал, глядя под ноги на горящие ссадины раздавленной земляники; юнкоры, подсказывала спина, не стали преследовать его после Даши, возможно привлеченные разболтанным Клейстом. Воздух, полный смолы, становился тяжел ему; хотелось пить, и он вспомнил о покинутом Дashiном поильнике, но возвращаться ради него одного было неинтересно. На сожженном участке плотно к чернеющим бревнам лежали две в таежной раскраске, теперь превращенной в оранжево-бурое месиво; третья, радужная, находилась подальше от них, сквернословя над поврежденной ногой; волосы и лоб ее были одна бирюзовая язва. Никита поискал глазами, не случится ли где отлетевшая емкость, но ничего не нашел; вдобавок ему налегке было опасно подступаться к радужной, уже заметившей его и выбиравшей себе что-нибудь для защиты. Две охоты назад такая же едва не вырвала глаз новичку из текстильщиков, пожелавшему снять с нее рокфестивальный платок: с раскроенной щекой они мчали его на себе к Гленновым скоросшивателям, а потом над лесом разразилась огромная гроза, превратив небо в гремучий студень, и Никита стоял под долбимым водою брезентом, любуясь по памяти черной кровью на тонком лице атакованного. Радужная с незакрывшимся ртом наблюдала, затрудненно моргая; причастные не проявляли себя из травы, как и те, что поместились у бревен. Обстановка была невнятна, но Никита все шел, стараясь смотреть сквозь сидящую и забирая слабо правее нее, уже зажавшей обеими руками крепкий сук; когда же между ними осталось не больше пяти шагов, она факелом вскинулась на одной ноге, выставив выбеленную солнцем палку далеко перед собой, и с гиканьем прыгнула к Никите, метаясь острым концом ему будто бы в самое сердце, как он успел понять прежде, чем выстрел отбросил ее назад. Зрение его смешалось, и Никита зажмурился, застыв столбом на месте; все еще стоя так, он услышал, как со спины нарастает голос, говорящий ему: «отойди; отойди и задумайся». Он послушно попятился и попался в ватные объятия доброжелателя; снова грохнуло над самым ухом ружье, оглушив его на полголовы, но разжав наконец глаза: девочка лежала простреленная в грудь и живот в стремительно натекающей луже, но не выронив для него предназначенной палки. Задранные подошвы ее оказались украшены рисунком кошачьих лап; когда бы все вышло не так, Никита попросил бы разыскать в вещах ее дневник для проверки, но теперь было поздно, и он ничего не хотел.

Две другие сестры от стрельбы плотней прилегли к поваленным деревьям, затылком к случившемуся; неоглохшей половиной Никита разобрал, как одна из них сквозь зубы, но с силой просит оставить их в покое: в такие моменты обычно выступал кто-то из давно и не

очень удачно выезжающих в лес, чтобы произнести известные реплики о том, что покоя на свете нет ни для чего живого и что худшее произошло годы и годы назад, но на этот раз собеседник не выискался, и девочка говорила одна. Постепенно он обернулся, уже выпущенный из спасительных рук, и увидел перед собой одетого траппером Глостера: спина его перекрывала всю ширину дороги, а в спекшихся волосах завелись пробные крапины седины. Его выход был тем более неожидан, что Глостер не увлекался никакой стрельбой и в лес не являлся даже в прошлое время, когда его съемка еще могла быть востребована здесь: Никита не мог сосчитать, как давно они не стояли так рядом, слышно дыша и не отворачивая глаз. Глостер смотрел на него как учитель на лучшего ученика, внезапно ответившего околесицу. Темная южная красота его жила словно сама по себе, как отселенный родитель, наезжающий без расписания, янтарные глаза казались украденными, а кожа неисцелимо молодой; ты совсем зарвался, исполнитель, сказал он наконец и сместился, открывая вид на дорогу, по которой к *lieu du crime*, подгоняя друг друга, приближались газетные дети. Никите меньше всего хотелось попасть на перо вместе с Глостером, но уже было ясно, что так это и произойдет и побег ничему не поможет; тогда он привстал на мыски так, что лоб его очутился на уровне губ предстоящего, и ткнулся в Глостера всем телом, принуждая того вновь сгрести его, и сам замкнул кисти у него на спине. Блаженны нестойкие, зазвучал опять Глостер, потому что одни они устоят; чем она приманила тебя, что ты понесся, как катер на скалы? Никита не расцеплял рук, и Глостер стряхнул его с себя, словно ящерицу. После того как ты рухнул на острове, я определенно подумал, что тебя отстранят от охоты, но когда пришел к отправлению, то увидел тебя на борту и понял, что это не кончится благополучно. Если ты свалился на постановке, то свалишься и на охоте, чем бы тебя ни отпаивал старый мороженщик; тебя разгадал даже Берг, раз прислал малых сих. Что-то мы расскажем им теперь, исполнитель? Юнкеры, дойдя до них, разделились: высокий остался стоять подле Никиты, а второй занес планшет над павшей радужной и, почти не глядя на тело, стал делать опись.

Сообщите, что заговор велосипедной группы, вздумавшей отнять у республики подлинный голос, пущен по ветру, подсказал Глостер; наши потери составили два боевых патрона. Ближний, не скрываясь, поморщился, вскинул планшет и предложил Никите рассказать, что с ним произошло. Я не много заметил, отозвался Никита, а Глостеру со стороны все-таки было виднее, отчего бы вам не записать за ним? Мальчики затравленно переглянулись, и ближний выдавил, что Глостер в последнем свете не слишком годится в источники и его недавний вызов на сцену лишь подчеркнул это. Никита развел руками: если так, то вы можете все изложить по еще не остывшим следам, а от меня оставьте, что не предвидел, не был готов и не имею мнения, кому это может быть выгодно. Ближний зримо порозовел, отвернулся от них и раздраженным шагом прошел вперед к составлявшему опись коллеге. Пусть Берг натрет им папиным одеколоном, сказал Глостер, увлекая Никиту с печального места; если бы это были мои дети, я бы добился, чтобы обоих убило петардой. Как мой вызов сумел повредить мне, исполнитель? Я держался прочней самого постановщика, ты мог оценить. Это было, несчастный приходил ко мне дважды, предлагая снимать их самостоятельность, но я даже не спрашивал, в чем ее прелесть. Скупщик выругал меня оба раза как последнюю дрянь, так что то, как закончилась эта затея, я принял проще многих; называй это как тебе будет удобно. Все последнее время я вижу во сне, что мертвый тренер пришел ко мне на квартиру вдвоем с манекеном и заставил бороться; сперва все происходит обычно, ни в чем нет подвоха, но спустя пять-шесть удачных бросков это тулово начинает мне противостоять, и каждое новое движение дается все труднее, я начинаю валиться, скользить; мое непонимание добавляет ему еще сил, и вот меня уже пробуют приподнять, сначала совсем незаметно, но потом все уверенней; его хватка становится невыносимой, безвылазной, я задыхаюсь и, уже придавленный к полу, слышу, как восхищен мною тренер: еще немного, говорит он, и мне больше не нужно будет возвращаться к тебе; но не дольше чем через две ночи они снова звонят в мою дверь, и я должен начинать все заново.

С тех пор как они повадились ко мне, эта набитая тварь многому научилась; она угадывает меня все чаще, и, когда входит в полную силу, я уже ничего не могу: я лежу в ее лапах и жду только, когда проснусь. Иногда это длится так долго, что череп уже хочет лопнуть, а грудь проломиться, и здесь я понимаю, что важнее всего ничего сейчас не сказать, вытерпеть молча во что бы то ни стало, потому что иначе она переймет еще и мою речь, и тогда что останется у меня моего? Может быть, ты сочтешь эту предосторожность надуманной, но, исполнитель, это в жизни всегда можно что-то исправить, а во сне все, что сделано, непоправимо. В отдалении уже было видно, как десяток причастных расхаживают над головной всадницей, почти не выходящей из травы; это первая, решил объяснить Никита, а первые терпят, как правило, больше других, но сегодня, как кажется, худшая жертва уже принесена. Движения тех, кто сновал впереди, были смутны, долетавшие слова отдавали зевотой, но, заметив их на дороге, эти выстроились в неровный коридор; из всех возвышался фехтовальщик Тимур, отличившийся год назад при усмирении южной промзоны, где прокатилось недовольство интернированных: обладая одной лыжной палкой, обескровил двух самых скандальных, после чего остальные прислали тряских парламентаров и, пока длились переговоры, убрались с занимаемого общежития при рекомендованном равнодушии оцеплявших. Сейчас он держал на руках картонную коробку с распахнутым верхом; заглянув, Никита увидел внутри мотки прозрачного скотча. Обольстительный выбор, сказал он, можно предположить, что у спонсоров закрылся убыточный офис. Тимур неожиданно вздрогнул, как разбуженный, грохотнув своей ношей; соседний с ним толстяк в накидке сигнальщика прихватил его сзади, и Никита понял, что и эти подвселены, как до этого Клейст. Вместе все это стоило открытого письма, но его мало трогало их разгильдяйство; карминная девочка покоилась в их ногах вниз лицом, будто бы без чувств, с сильно бьющейся жилкой на щиколотке.

Приступ общего столбняка ослабел, и какой-то спасатель поприветствовал их вполне одушевленно; кажется, здесь они напали на тех, для кого Глостер еще воплощал дидактический натиск и грубую правоту первостроительства, время которого отпылало так быстро, что все те, кого не подгоняли в кружках, не успели отвыкнуть. Отмерев, причастные разделились, с новой ловкостью подвели под велосипедистку ремни и, вчетвером оторвав ее от дороги, отнесли к выбранной сосне; девочка не оживала, повисла покорно меж ними, качая ивовыми руками, и все они словно бы снились ей в летнем лесу, соткавшись в уме от смолы и от солнца. Ее вытянули вдоль ствола, не убирая ремней; треснул скотч, и летящая лента обвила прозрачные плечи и грудь неудачницы, перекинулась к бедрам, схватила колени и голени; отсалютовавший Никите и Глостеру спасатель помог укрепить голову, приподняв ее под подбородок. Попавшие под скотч на лбу волосы застыли как размазанные пауки, и вся девочка словно бы истончилась еще, так что под пеленами скотча тело угадывалось не везде. Глостер ладонью собрал комаров, севших на неприкрытое место вокруг ее рта: светле, злачне, покойне, сказал он отсутствующе, и Никита не успел заметить, как снова оказался у него под рукой.

Оставшиеся без дела причастные пропустили их перед собой и потянулись следом на легком расстоянии. Выпускную ночь я продержался в учительской за инструментом, вполне работчим, заговорил Никита, пока в актовом зале надо мной спотыкалась дискотека; в четвертом часу это улеглось, и я выбрался на лестницу, имея в виду выяснить, не случилось ли наверху какого-то несчастья. За окнами уже начиналось первое солнце, но свет ложился так, что мне не было видно сидящих вдоль стен; *en revanche*, проникавшее лезвие позолотило сиреневатую полосу выпускной рвоты, наискосок пересекавшую пол, и это было так неотменимо красиво, сиреневое с золотым, что мне было впору вернуться за клавиши и сыграть им, неслышащим, рассветную песню. Утро все приливало, на скамьях обозначалась какая-то жизнь, и я поспешил вниз, где охранник уже отпер двери и каждый был волен уйти насовсем. Так сложилось, что впредь с этого утра я не встречал никого из своих соучеников, все они так и остались в той слабеющей тьме, у рвотной кляксы; это давало мне повод считать себя осторожным, но

сегодня меня как будто догнали оттуда и эта команда у нас за спиной, как умеет, наследует тем пьяным детям. Глостер отер лицо рукавом: ты готов ущемляться на каждом углу, исполнитель, потому что твои дорогие обиды влекут тебя больше, чем чужие надежды, вдобавок бесплатные; по-твоему, все было начато не для того, чтобы не первый год лысеющие сожители записывались на конкурсы чтецов, волонтерили на смотрах и сражались с велосипедистками, но чего же ты хочешь для них? Я застал их на ранних поездах восемь лет назад, когда ты еще смешил педовок, и что было отпущено им: спать на сумке под желтыми лампами, покупать позорную еду и стыдные газеты, заливаться по пятницам на том же месте, в субботу или воскресенье покрикивать на стадионе, если есть на кого, и приглядывать по вечерам за грузинами, прибалтами и украинцами, и все это было мужское, тяжелое дело и упрямый труд, с которым ты бы вряд ли справился, подсади тебя к ним на неделю в третий вагон, но произошло как раз другое, и это их допустили в твой сад, и они прижились, и устроили игры по собственным силам, и терпеливо ждут, что найдут в тебе отзвук. Он умолк, и Никита попробовал освободить локоть, но не вырвался и на полпальца; медицинский шатер уже брезжил в сосновых про-светах, и к встречавшему Гленну они вышли в той же сцепке; Никитины губы сами по себе явили резиновую улыбку. Пока развивалась охота, врач, по-видимому, тоже что-то глотал в лазарете и теперь стоял на солнце красиво оплывший, трудно поводя каштановыми глазами; Никита, сказал он, тебе не простят, если завтра не будет поднята медикаментозная тема; мои морфинисты обещают коллективно издохнуть у тебя под окном. Даже Глостер не вынесет всех этих тел, застывших немим укором. Греко-римлянин крепче стиснул Никиту и спросил, не приколот ли где-то вблизи прогулочный ял, но Гленн не давал от себя отмахнуться: по нашим подсчетам, в первую неделю сентября на складах закончится инсулин и если за оставшееся лето глава не подпишет бумаг на ввоз, то осенью ему придется объявить диабет лжеболезнью, а тебе с библиотекарями назначат составить разоблачительные куплеты для санитарных трансляций. Никита почувствовал, как глупый холод растет у него в животе, и повис на Глостере, как на застоявшейся с подругой матери. Гленн еще никогда не имел к нему просьб, и ему не хотелось отнекиваться от него; вжавшись в опекуна, Никита испуганно пообещал посмотреть свои тетради и что было сил дернул Глостера к берегу. Перевалив луг, они через тесную заросль вышли к играющей воде, и Никиту качнуло от хлынувшей свежести. Небо возносилось над рекою подобно стене, лиловея над лесом напротив. У поставленной водниками тумбы одна на другой, как майские жуки, лежали две лодки из рыжей пластмассы, видимо, отторгнутые транспортниками у заносчивого курорта еще до окончательного пожара. Глостер разнял их и выбрал лежавшую выше, а Никита подобрал с земли короткие обкусанные весла и с ними узелковую метку от прошлого пользователя: он не умел читать эти письма дальше первого пункта, относившегося до воинской обязанности, и от себя завязал в конце ровную бабочку.

Он предугадал, что на веслах Глостер станет благонамеренней, успокоенный плеском; пока ждущие остальных катера не скрылись из виду, зачинщик «Самоконтроля» не произнес ни слова и Никита почти перестал различать его за его же коленями, огромными, как два холма. Когда они достаточно отделились, Глостер сложил весла, собрал пальцы в замок и сказал, что еще до того, как на складах иссякнет инсулиновый запас, он намерен покинуть совместный лагерь, где ему не могут вменить никакого полезного дела; таким образом, завтрашний концерт оказывается последним, который Глостер сможет увидеть живьем, и он просит Никиту устроить это; ты бы мог посадить меня в амфитеатр с профсоюзами, подсказал он, так меня не заметит почти что никто, и ты сам не будешь уверен, остался ли я после первых вещей. Будем считать, что так ты расплатишься за сегодняшнее приключение, исполнитель; я, по крайней мере, не прошу для себя никаких посвящений, даже и тайных. Я займусь этим, проговорил Никита и, освоившись с новостью, предположил: видимо, ты не желаешь, чтобы тебя одного прибавляли к потолку, раз рассказываешь мне такое, но когда бы я мог выбирать, то скорее бы предпочел девочек сук, чем китайское чаепитие. Прекрати это сразу, сказал Глостер, рассте-

гиваясь от солнца, я не стал бы ни о чем с тобой говорить, если бы мне не было ясно, что нужное время настало, и потом, я почти убедился, что республика если не прямиком, то окольно толкает меня ровно к этому выходу. Этот никчемный вызов на спектакль, видимо, обновил меня в общей памяти и так единственно смог помешать мне; но я ставлю на твой завтрашний выход, он должен заставить их все позабыть. Я не люблю эту присказку о быстроте, повторяемую вольнокомандующим по всякому поводу, я думаю, что все, что чего-нибудь стоит, случается долго и никогда до конца, но со мною самим все вышло именно так, как настаивает Трисмегист: я случился один раз и быстро, но потом еще долго считал, что продолжаюсь, пока на декабрьском отчетном меня наконец не отсеяли с первого ряда в седьмой. С тех пор я стал заметно глупеть, исполнитель, печальная песня; но в мае на пустошах я понял, что с концом моей видимости началась история моего исчезания и она будет длиться несравненно дольше, что бы со мной ни произошло. После седьмого ряда был восьмой и четырнадцатый, а потом не осталось и этого; в феврале меня вывели из совета по ближнему бою, в марте вышла последняя реплика в «Панче», и этим течением меня очевидно выносит наружу: что же, теперь я вложусь в это сам, ни на кого больше не полагаясь.

Никита свесился ниже к воде, отворачивая от Глостера разгоревшееся лицо: пусть получится все, как ты хочешь, но мне нелепо от мысли, что бассейнные обитатели, не всегда уверенные в собственном отчестве, ошущиваемые всеми и неделями питающиеся одной мукóй, преданы республике больше, чем их первейший наставник, за которым они посчитали бы счастьем донашивать недоистлевшие майки, вчетвером помещаясь в одну. Вспоминаешь ли ты вообще об этих цинготных, в недострое сидящих без нормальной постели и целой обуви, но ждущих, что каждый получит свое назначение? Их сминают болезни, они умирают в грязи, но лучшие речи, что говорятся теперь, произносятся на их похоронах теми, кто переменял им повязки. Глостер снова взял весла, и светлая капля сорвалась у него с подбородка: если я и пытался наставить их в чем-то, то уж точно не в этих надгробных искусствах; но и это не значило бы ничего, если бы я был способен любить их, а этого так и не вышло, чем бы их ни кормили и где бы ни складывали умирать. То, чем я прорасту в них, когда этих детей наконец отпустят погулять за периметр, станет первой причиной, что их из брандспойтов в ужасе загонят обратно; в их условиях лучшее, что я успел предложить, уже перебродило в бесстыдство и дрянь, и коллеги будет легко обвинить меня в разложении смены, пускай и заочно; ты посмотришь на это, послушаешь и отметишь себе, что бродячий атлет был изумительно прав. От тоски Никита сильнее поджал затекшие ноги: обещаю следить за детьми, хотя это и скучно, но у тебя же нет для меня другого завещания. Знаешь, я вижу республику откапываемым из песка городом, чьи границы текучи, а устройство открывается так не спеша, что и самые твердые изнывают над этим; но все терпеливы и все живы одним обещанием на всех. Глостер мечтательно выпрямился на сиденье, и лицо его стало насмешливо, как никогда, но Никита не захотел исправляться; солнце мяло затылок, он чувствовал слабость. Еще весной его содрогнула бы мысль, что Глостер способен исчезнуть с их карты, но теперь это было почти что не с ним, как в старой муниципальной газете. Остаток пути до позавчерашней пристани он держал глаза полузакрытыми и к концу весь обмяк и запекся; привязав лодку, Глостер поднял его на себе и поставил на гулкий бетон. Место было безлюдно, ветер ныл в штабелях рухляди. Издали вырастал нагоняющий шум катеров. Ступай, исполнитель, велел Глостер, я скажу, что тебе не совсем хорошо; вызови себе повара, пусть тебя крепко покормят; остальное придет. Солнце разоггло его глаза до почти желтизны. Никита еще вдохнул рвущийся речной воздух, выдохнул, обернулся кругом и пошел прочь с пристани, унося внутри горячую пустоту.

Голод не волновал его, но там, куда целила девочка, возник теперь ровный свербеж; убаюкиваемый им, он вернулся к себе той же самой дорогой, которой вчера шагал под дождем с ординарцем. Дома он отпер окна и переменял старику одеяло на легкое; набрал ванну и лег в некрасивую воду, стараясь не видеть себя. Еще в прошлое лето Никита с сухостью в сердце

признал, что, за пронзительным исключением Глостера, все, кто был здесь сколь-либо замечен, не вполне удались их родителям и республика тоже никого не сумела украсить: в каждом видном лице проступал знаковый недостаток: синий шрам Трисмегиста, отсутствующие губы Центавра, комковатые лбы Несса и отставного Энвера, волчьи уши Сапеги, девические подбородки Лефевра и Ланна, четкий под бумажною кожей череп Рассела, непомерные скулы Дункана, черные, как из подвала, глаза Экхарта и Главка; список был еще долог. Он лежал, раздавая их имена школам и скверам; изменившая им красота раздражала его не сильнее, чем память о каком-нибудь оскорблении, полученном в детстве, но отвлечься от нее до конца он не мог: красота ничего не имела сказать, она была плоской величиной, но ее правота не снималась, как в школе нельзя было отменить плоскую алгебру, очереди из знаков без смысла внутри, от которых в его голове заводился сырой, сорный свист. Верстальщик Флакк, единственный, у кого он просил тексты сам, заявлял, что пишет для красоты; Никита не верил ему, но считался и с этой отговоркой, как когда-то смирялся с тем, что не способен проникнуть умом в повитую фигурною скобкой систему неравенств; вопрос был о том, каковы шансы малокрасивых людей, запряженных вместе, составить в итоге такое целое, чья красота преодолеет и исправит их раздельную неполноценность.

Из-за теплой воды пол и стены запахли сопревшей листвой, и тогда он подумал о будущей осени с легкостью в теле: за истекшую половину лета он устал находиться у всех на глазах, а окончание игр и охот обещало возврат к замкнутому труду, погружение в дымную тьму без ночных приглашений и бдений на верхних трибунах. Он подумал еще, что сумеет заняться заброшенной шесть лет назад по болезни сонатой, которую он так и не разлюбил; все это время ему не давалась работа над музыкой без назначения, ни для кого, но после сентябрьских выставок предвиделся сумеречный промежуток, где ему было трудно найти себе лучшее дело. Никита отыграл свой первый в городе концерт в доме инвалидов за радиополем; его привезла и объявила начальник отдела культуры с финифтью в ушах, которая годы спустя выступит с выходявшего на фонтаны балкона с неразборчивой речью, но не получит за нее и того, что получил Почерков за стихи из тетрадки. Старики уже ждали в столовой, и ему пришлось расставаться при них; протягивая шнуры, он успел сосчитать наблюдавших: двадцать семь, они сидели вокруг него покоем. Он разглядел только двоих мужчин, занимавших крайние до него столы; позже, за чаепитием, Никите представили третьего, неразличимого за животом, отвесными плечами и щеками в цветущем пуху; его звали Алешей, он страшно стеснялся и низко вжимал ровно расчесанную голову. Выяснилось, что Алеша был старше Никиты всего на два месяца, а в доме жил с получения паспорта; было видно, что он здесь любим и согрет, и Никита без лишних усилий улыбался ему. Он сыграл тогда все, что у него было: полтора десятка песен на стихи ветеранши Крестовской, доверившейся ему после долгих переговоров через лучших людей; голос его провисал от недавней весенней простуды, в двух местах он запнулся и наскоро переврал слова, но и сейчас вспоминал этот выход не угрызаясь. Фарфоровые старики хлопали осторожно, чтобы не отколоть себе рук. За высокими окнами зала разворачивался скудный март, лежала тяжелая коричневая трава; бесконечные мачты вздрагивали в гулком воздухе. Он не знал этих мест и вторично приехал сюда только в день эвакуации проследить, чтобы все прошло гладко; тогда узналось, что Алеша давно скончался от сердца, оставив после себя двадцать коробок разгаданных кроссвордов. Помнил ли кто-то из выживших о его единственном выступлении, узнавать было некогда: стариков выносили наружу едва не бегом, и он успевал лишь проверить, достаточно ли те одеты для перевозки. Автобусы были заняты на ландшафтном смотре, и к инвалидам прислали белгородские грузовики, брошенные за рынком полгода назад, с луковой шелухой и газетным рваньем внутри. Старики покидали гнездо в полусне, неподвижные в креслах; как и в свой первый приезд, он испытывал больше смущения, нежели жалости, и укреплял себя мыслью, что все происходящее сейчас скоро закончится и больше не повторится. Когда дом опустел и хорунжие опечатали входы, Никита не поехал до распре-

делителя, где от него уже точно не было никакого смысла, и остался один на выщербленном крыльце, слушая, как в прилежащей роще заходятся загородные соловьи. В освобожденном доме по первоначальному замыслу должен был разместиться крайний отдел, но в итоге отдельные сели в кончившейся парикмахерской в дальнем заречье; инвалидные комнаты же до сих пор прозябали, и никто не желал населять их.

Вода остывала, и он вместе с ней; наконец он поднялся и вытерся, завернулся и вышел наружу. В открытые окна с улицы намело тли: три вялые зеленые капли улеглись на коричневом лбу старика, Никита стер их краем полотенца. Все еще не одевшись, он выставил из холодильника остаток позавчерашнего ужина: застекленевшую половину лазаньи и чуть начатую тарелку фасоли, хлопнул микроволновкой и сел на табурет спиной к стене. Неудобная просьба Гленна, о которой он успел позабыть по дороге, вновь всплыла со дна головы; нужно было снестись с библиотекой, чтобы выбрать подходящий текст. Книжники были сами старатели слова, но отнюдь не светили написанным, как и в прежние годы пользуясь одним на всех рукотворным журналом, не покидавшим читального зала; два или три раза Никита, пользуясь все же их расположением, заглядывал к ним в альбом, и слова рассыпались перед ним, как сухой песок или хвойные иглы, не держась друг за друга ничем, кроме общей необязательности. Что они не несли себя на регулярные чтения, ему было понятней всего: в лучшем случае это закончилось бы фельетоном в еженедельнике и набегом на библиотеку расклейщиков, от которого не получилось бы быстро отмыться; ко всему, от осмеянных ждали в недолгое время заметных раскаяний и придумать для книжников горшую казнь было вряд ли возможно. Блеклая снисходительность, выказываемая ими по части собственно Никитиных дел, не мешала ему: он допускал, что библиотечные братья, все младше его, от рождения имели в себе большой клад, чем Крестовская, Почерков или сам Флакк, но они выбрали остаться по обратную сторону речи, в искусственно усугубляемой тьме, и республике было нечего взять с них, кроме этой понадобившейся ему теперь подсказки.

Библиотека была в трех коротких кварталах от его дома; справившись с лазаньей и счистив в мусорное ведро остальное, он надел тонкие брюки и льняную рубашку бумажного цвета и спустился во двор, на жару и безветрие. Мать перевезла Никиту в прибольничный район, когда ему было пять, и со своих первых лет здесь он выучил, как земля, пролежав без движения под снегом, разговаривается с наступлением тепла: в марте становился слышен соседский кашель на кухне и в ванной и маневры товарных составов за лесом; к началу апреля налево от поселка оживали нищие дачи, начинался их деревянный стук, а в спальне заводилось постороннее радио и гудки в чужом телефоне; в мае здесь был уловим лай военных собак с полигона в восьми километрах, гудки с трассы и ночной скандал в квартире через этаж; с началом же лета две их комнаты переполнялись хлопаньем невидимых форточек, звоном посуды, скулежом выкипающих чайников, детской руганью, лязгом велосипедным, стадионными окриками и щелчками чужих зажигалок, а по ночам дом проникали, сплетаясь, неразборчивые голоса, чье происхождение было темно: Никита не узнавал в них соседей, а немногие серые тени, слоняющиеся у бомбоубежищ и видимые ему из кухни, стыли молча и только роняли стекло; он почти что уверил себя, что так напоминают о себе неприбранные поселковые мертвецы, о которых он много слышал от местных, но из детского страха Никита тогда не дал этой мысли развиваться. Самые ровные ночи первого лета республики были громче любого из его прошлых лет, но на это, второе, дом обуяла войлочная глухота, и только сигнализация, являясь, мешала ему спать и работать; будь на месте Никиты искатель из ранних кружков, учрежденных задолго до первых событий, он бы вывел, что изгнание муниципалов и взятие власти свободными формированиями уgomонило погибших здесь в годы безвременья, когда выход на улицу после восьми сам по себе уже воспринимался как вызов.

В читальном зале с мигающим в дальнем углу потолком Никита застал на выдаче насмешника Ростана, птичье тельце, утяжеленное угольной бородой; полулежа над выписками за про-

сторным столом, он выглядел как пресс-папье. Маленький книжник обрадовался ему: отодвинув тетради, он запросто перескочил через стол и протянул Никите невесомую руку; на нем был побитый, но крепкий двубортный пиджак с полустертой нашивкой отличника словесности. Книжники не имели привычки к пустым вопросам об охоте и играх, и это упрощало его поход; вместе с тем Ростан не упустил высказать, что библиотекарям вновь не досталось ни места на завтрашнем концерте, и Никите пришлось подавить в себе быструю вспышку ожесточения. Выслушав, для чего он пришел, Ростан посерьезнел и задрал голову к потолку; полминуты спустя Никита осторожно спросил его, где теперь Палмер и Верхарн, но тот только хмыкнул в ответ и замер на мысках. Стало слышно, как цокает, дергаясь, поврежденная лампа. Оттого что ему удалось на какое-то время озадачить крохотного Ростана, Никита почувствовал тихую гордость; наконец книжник выдохнул, опустил ся со стуком на пятки и попросил себе час для раздумий и розысков, после чего он отправит к Никите посыльного с книгой. Это казалось удобней всего, и Никита, поблагодарив, удалился на улицу; он догадывался, что и увалень Палмер, и длинный Верхарн слушали их из-за стеллажей, и с облегчением покидал их скрытное логово.

За библиотекой лежал неорганизованный двор с разбитой каруселью посередине; он обошел здание и встал в тени у заделанного окна, напротив больших тополей. На этом месте его единственный в жизни раз поваляли в пыли: в лето между седьмым и восьмым, когда он возвращался с продуктами, стесняясь собственного пота, Никита наткнулся здесь на порывистых спортинтернатовцев с белесыми после свежей стрижки затылками; не угрожая, они выхватили у него пакет и так же молча двинулись прочь, но Никита повис на последнем, тот бешено дернулся, и Никита рванул его майку; интернатовцы остановились, их лбы развернулись к нему, и он успел отпрянуть от первой выброшенной руки, а в ответ пнуть ногой отнятый пакет, метя в пах похитителю; он ушел и от следующего удара, но придумать, что дальше, уже не успел и покорно свалился на третьем, гулко стукнувшим в грудь. Они не спеша обступили его, все еще не решаясь заговорить; так он понял, что им тоже трудно определиться с дальнейшим, и, желая покончить с их оцепенением, произнес два худших из известных ему слов; это подействовало, и кроссовки забарабанили ему в открытую спину. Пыль, взметаясь, щипала лицо; он спрятал его за ладонями, и мелькание мира погасло, сменившись пульсирующей чернотой. С десяток секунд он продержался так, стараясь не дышать, но после пришедшегося в шею пинка вывернулся и сел, раскидав руки по сторонам; тогда его взяли за волосы и медленно уложили обратно, почти как ребенка в кровать. Он успел заметить, как вымазалась его футболка, и снова укрыл лицо, но все уже затухало; ему еще постучали по коленкам, как от нечего делать, кто-то одною ногой привстал у него на груди, сквозь потрясающий шум в голове сверху просыпался мелкий смешок; подбравшись, Никита почувствовал, как растущий сон уносит его прочь, и поддался течению. Когда он разжал глаза, никого не было с ним рядом; ветер гнал наискосок картонный сор, в небе шли бесформенные облака. Он поднялся, оценивая свой ущерб: футболка была вся в следах, Никита сразу стянул ее и намотал на руку; одно из колен оказалось содрано и слабо сочилось; об угнанном пакете он старался не думать. Почти гордый своим поруганием, он, как сумел, растянул шествие с замотанной рукой, будто бы с факелом; через несколько дней дети переселенцев из длинной казармы неизбежно назвали ему имена интернатовцев, простые и грубые до деревянности, как и вся их тогдашняя жизнь, и он запомнил их навсегда, как домашний телефон или почтовый индекс. Попав в городской архив еще до того, как пала заблокированная мэрия, Никита отыскал их: все трое жили в аварийных домах вблизи стадиона, он переписал адреса, но, как и в то отстраненное детское лето, не смог решить, что ему делать дальше; и тогда же, среди разошедшихся шкафов, он понял, что республика распорядится сама о своих недоносках, выберет им судьбу, рассудит и воздаст, и в кислом дыхании картотечной фанеры ему впервые послышался явственный запах свободы, мгновенный и невыносимый, почти невозможный на свете.

Посыльный от Ростана прибыл к нему спустя почти два часа, когда он уже сделался зол на задержку; взмокший подросток вручил ему заложенный ближе к концу черный том без названия, постоял в дверях, ожидая подачки, но Никите было нечего ему принести. Ростан выбрал стихотворение, озаглавленное «Смерть врача»; в целом оно напоминало вещи той же Крестовской, меньше Почеркова, и только строки о кончающемся мире и дрожащем разуме выдавали руку нездешнего мастера, вероятно когда-то умевшего быть удивительным; это можно было проверить, раскрыв книгу с начала, но времени и так оставалось немного. Стоило признать, что Ростан угадал безупречно: кроме того, что текст не был опасно далек от привычных сожителям, в нем имелась единственная, но прямая подводка к инсулиновой теме, «спасительный шприц» из развязки сиял и вонзался, глава не мог этого упустить. Для лишней верности укола Никита решил, что не станет писать новой песни, а прочтет о последнем порыве врача под простую подложку из черновиков, без вступлений и неудобных здесь пауз, чего он никогда еще не делал и теперь мог использовать; оттого, как выгодно все складывалось, он был близок к восторгу. Ему не нравилось работать в собственной спальне, но ехать сейчас в ДК было все-таки лень, и Никита сел за домашний «Роланд», добытый для него на одной из первых раскопок, дорогой и чужой инструмент, длинная глыба пластмассового льда. Его родной *Ernst Kaps 17471*, унаследованный от отца, был торжественно переправлен в ДК в те же самые дни, когда из всего, что касалось какой-либо общей работы, возникал обязательный праздник: за пианино прислали открытый грузовик в нелепых венках по обоим бортам, перекрыв для него половину и так опустевшего центра; Никита тогда не без муки убедил их не сажать его в кузов для импровизации, сославшись на страх заболеть. Промявшись теперь за клавишами около получаса, он будто бы понял, как лучше украсить прочтение: в свой первый студенческий год он был болен от нестерпимой *In Rainbows* и в зимние каникулы, задавленный огромной тишиной, сочинил несколько вариаций на последнюю *Videotape*, надеясь исправить ее смертельную точность; он почти позабыл эти опыты, охладев и к щемящим британцам, и к почтительному подражательству, но музыка вся была в пальцах и возвращалась без труда. Из написанного той ничейной и дымной зимой он выбрал теперь несколько уверенных фраз, должных поставить номер с врачом на крепкие ноги; но воспоминание увлекло его дальше, и он провисел над «Роландом» еще безотчетное время, перебирая оставшуюся слякоть и удивляясь ее неспособности наконец пересохнуть, как ни зимою, ни летом не выеивалась рудничная сырость из учебных коридоров и аудиторий, где цвело и мужало его одиночество. Бледный фудкорт, куда педаки притекали после занятий, имел над ними странную власть, и в какие-то дни он просиживал здесь долгие часы, не в силах отлепить локтей от стола; разговоры его не касались никак, от чужой еды пахло отребьем, свет был подслеповат, и тонкая ненависть начинала звенеть внутри него, не находя себе выхода. После взятия вся эта площадь досталась чайной мастерской Ласло, до того занимавшей десять квадратов на первом этаже; не всегда очевидные чайные проповеди скоро привлекли сюда наблюдателей из крайнего отдела, падких до тайных доктрин, и место стало тихо хиреть, пока Центавр не предложил чаесторговцу развернуть филиал у них в здании. После того как новость о сделке достаточно распространилась, Никита примкнул к нечеткому кругу недоброжелателей Ласло, наравне с книжниками и Почерковым: у него не было сильных предубеждений о работе отдела, но что-то подсказывало ему встать на эту сторону; с тех пор он не появлялся на бывшем фудкорте, пил дома спонсорский шиповник и вежливо отклонял приглашения на новые сорта.

Ночью он без труда проспал до половины четвертого; в последнем перед пробуждением сне Ростан и Палмер читали возле фонтана про «руки наших рук» и «мафорий Ульрики на башнях», и Никита проснулся, смеясь в тончающей тьме. Приключение врача успело рассеяться в памяти больше чем наполовину; он нашел оставленную книгу, но света еще было мало, чтобы что-то прочесть, а включать электричество он не хотел. Улегшись поверх одеяла, Никита вспомнил отекавшего под солнцем Гленна, его коричневые руки, оплетенные вспухшими

венами, и сумеречное лицо, не тронутое никакой надеждой; тогда же он подумал, что история с инсулином может иметь в себе лишнее дно: слишком шаткой была вероятность, что хоть что-то касающееся снабжений могло совершаться или не совершаться без умысла ставки. Мысль поколебала его; в самом деле, зачистка республики от затратных больных будто бы отвечала прошлогодней еще установке о ясности, осуждающей в целом «непреодолимые личные свойства», к которым было легче всего отнести диабет. Никита вытянулся на постели в тоске: если все было так, то его небольшое вмешательство утрачивало всякий смысл, кроме разве того, что Гленн не станет считать его за пустослова; глава же пропустит все мимо себя, не поведя и зрачком: в ставке еще ни о чем не решали дважды, и едва ли он мог это переменить. Никите стало жаль всей вчерашней возни, и он почти с ненавистью подумал о главе, убранном под звуконепроницаемый купол. Он знал о нем лишь немногим больше, чем те сто сорок тысяч, что отдали за него голоса: покетбуки на станции и гербалайф на заре, первый в городе вольный фотоцентр, фестивали в пойме и блогерство, квелое до момента, пока диаспора не вздумала захватить его ателье. Хроники осады с приложенными фотографиями то разбитых витрин, то монтажную пену залитых дверей вывели его в региональный топ, и, хотя это не помогло ничего удержать, город запомнил сверкнувшее имя; после разгрома он выбрал изгнаться за море и вернулся обратно на пике событий, обрюзгнув и охромев.

Опираясь на вздрагивающую трость, он явился к фонтану напомнить о перенесенном и призвал не жалеть ни себя, ни врага; тем же вечером в центре выгрузились три машины сухого пайка, а еще через день у «Аорты» взяли световые гранаты, от которых рассыпалось до половины бесплатных защитников мэрии, а те, что остались, приготовились к худшему в жизни. Огорошенные, муниципалы пустили последнюю бумагу на печать короткой газеты «Незванный гость», объявлявшей героя «бывшим распространителем фальшивых порошков и таких же книг» и «известным приятелем на всю голову бритых наставников формирований», скупающим протест за лежалые снеки. Разбросанные на подступах к центру листки убедили неопределившихся, что виновник спецвыпуска по меньшей мере способен добыть в город подводу еды: после того как последние два супермаркета вывесили сожаления и надежды на скорую встречу, это захватывало сильнее всего. Словно бы из смирения глава сохранял один из тогдашних листов на стене своего кабинета, где Никита побывал всего раз, когда ему официально вручали ключи от ДК, которые он, как всем это было известно, носил уже давно. Три-мегист, обеспечивший выборы во главе объединенных формирований, не поддерживал никого из шести претендентов и после того, как все было завершено, остался таким же свободным, каким был при муниципалах, раскованно-собранным; он мог выручить Гленновых пациентов одним комментарием в вестнике, указав, что болезни не могут расцениваться как препятствие к ясности, но Никита не поручился бы, что основатель «Аорты» действительно думает так. Словом, день начинался так рано и так ненадежно; он пожалел, что сна не достало удержать его на простыне хотя бы до семи.

Утро раздавалось над самым двором, выступили гипсовые облака. Со стадиона доносился расчет согнанных на гимнастику детсоветовцев; не слишком мужские еще голоса, исполненные лезвийной чести, отзывались неслышным воспитателям. Никита встал у холодного окна, считая отклики: те все множились, устремляясь в растущее небо, и на несколько секунд в нем возникло почти материнское чувство, круглое и живое, как хлеб; тогда же он без обычного стеснения в горле подумал о том, что прощание с его собственной юностью затянулось и нуждается, что ли, в каком-то последнем рывке. Он решил, что после концерта, если все будет принято без нареканий, подаст главе просьбу об усыновлении; он не так много размышлял об этом раньше, но сейчас такой выбор казался ему очевидным, а любое обдумывание уже неуместным. Не имея причин задерживаться дома, Никита собрал с собой нужные тетради, книгу со «Смертью врача» и новое белье, снял телефон в коридоре и вызвал машину в ДК; дожидаясь, он с вещами в руках замер над рассветным стариком, и с минуту спустя на лежа-

щем лице возник призрак улыбки, постоял и истлел, как молочная пена. Никита тронул губами папиросный лоб, сухой и горячий, и поторопился уйти.

2

Залежи брошенного реквизита за сценой укрывала горчичная пыль, не тронутая со времен, когда он приходил сюда в артистический класс, не зная, на что еще применить себя на выходных. Здесь его не любили слабее, чем в школе, и он не помнил никаких имен, но готов был поклясться, что пыль была той же, толщина ее не изменилась: общий саван укутывал составленные один на другой ящики с посудой, веерами и зонтиками, имитации патефонов, швейных машинок и звериных шкур с исчезнувших постановок. Вооруженный одним коробком ватных палочек детсовет выскреб бы все закулисье за полчаса хорошей работы, и об этом уже, кажется, кто-то шутил, но Никита не хотел ничего нарушать и сам пересекал это место на легких ногах, чтобы не потревожить.

Он вошел в зал зрительскими дверьми, не включая свет. *Ernst Kaps* на правом краю сцены стягивал к себе тьму, освобождая проход между креслами; не поднимая глаз к потолку, Никита мелким шагом приблизился к сходне, сел за инструмент и улегся лицом и локтями на запертую крышку, как на голую землю. Отец играл Дассена и городские баллады без авторства, стараясь звучать роскошно, и еще до всех школ Никита смог определить, что папа с дрожащими над клавиатурой плечами только уродует музыку, созданную быть простой и летящей: неспособная умереть до конца, она будет теперь жить глубоко перебитой и с отвратительной гроздью пришитых конечностей на самом виду. Чистый стыд, освоенный им тогда, хранил Никиту на плаву всю учебу и внушил ему строгость, без которой он не собирал бы теперь этот зал. Он не терпел ни пространных вступлений, ни долгих концовок, ни оттяжек, ни код; Трисмегист говорил при всех, что от него ждут «походных песен», и, хотя Никита не полностью понимал, о каком походе могла идти речь, все же был благодарен за эту наводку и старался, чтобы каждая его вещь была подобна складному ножу с единственно нужными приспособлениями, о назначении которых не надо было гадать.

Он пролежал так непонятное время, пока быстрый кошмар не встряхнул его; отлепясь от нагретого дерева, Никита встал и хлопнул по выключателю на стене за пианино. Синеватый свет охватил сцену и ближние места; еще раззадоренный сном, он подумал рискнуть и занять Глостеру кресло в одном из начальных рядов, как это было год назад, а при случае объяснить это как благодарность за случившееся на охоте, но тотчас спохватился, и от мысли, что несостоявшийся документалист покинет их равнодушные места, в нем наконец поднялась сосущая досада. Без цели обойдя кругом сцену, Никита вернулся на свой рабочий табурет и откинул крышку; неживое волнение, не оставлявшее его с первой островной ночи, продолжало расти в животе и руках, и он по памяти заиграл «Гения холода», надеясь сцедить с себя его черную жидкость. Перселл был невообразим при муниципалах, Никита разбился бы над этой музыкой без кожи, на птичьих подпорках, если бы попытался сыграть ее в честь окончания сессии или покупки ботинок со скидкой: на всем протяжении города для нее не набралось бы тогда и на сантиметр чистоты, как, наверное, и во всех остальных городах, где еще говорили на русском. На первом рождественском вечере в ставке Никита исполнил бездыханное рондо из «Абделазара», изумительно повторявшее снег за окном, но сидящие не были как-либо тронуты и просто ждали, что будет сыграно дальше; по выразительному совпадению, после за ужином Трисмегист обстоятельным тоном заговорил о выгодах латинизации, вопрос о которой ставился впервые еще в конце лета, но за осень погас. Мысль его была в том, чтобы выстроить письменную стену как от тех, кто жил за полосой, так и от муниципальной эпохи, сделанной полностью из бумаги и до последнего молившейся на нее; увлекаясь еще, он настаивал, что алфавит опозорен и должен быть смещен если не в ближайшие месяцы, то в ближайшие годы, а внутренние

паспорта перепечатаны заново. Никита один решился спросить, не будет ли это воспринято многими как заискивание перед спонсорами; Трисмегист, веселясь, отвечал, что все смелые замыслы обречены на такие намеки и этому вряд ли скоро настанет конец, потому что республике далеко до желательной ясности, но не стал продолжать разговор. Перед самым разездом внизу, под железными звездами, он царапнул Никиту глазами и, шумно запахнувшись, на том сел в машину; уязвленный, исполнитель пообещал себе больше не припадать к вольнокомандующему с делами, не имеющими отношения к музыке, хотя в этом и слышался голос дворовой обиды. Никита считал, что недолгий одноклассник должен угадывать в том, что он делает, явную жертву: в отличие от библиотечного взвода он укротил в себе физическую способность писать не имея в виду адресата и не скрывал от сожителей ничего из законченного, даже если оно не казалось удачно; он подозревал, что едва ли найдется хоть кто-то, кто плоше него представляет себе жизнь без республики, но чем дальше, тем чаще он чувствовал, что Трисмегист слышит в нем лишнюю тряскость и догадывается, что однажды Никитина музыка тоже населится ею.

Когда в зал без приветствий и скрипа вошли распорядители Сван и Пелым, Никита понял, что дело близится к полудню; теперь пора было решить о Глостере, и он скорей велел Свану отнести гостевую карту в последний ряд амфитеатра. Пристальная бесстрастность, которой он научил их, ему все еще нравилась: работа над ними была его единственным опытом воспитания, и Никита мог быть доволен тем, как исправил их от мерчендайзерской ловкости, тесной смеси угодливости и ленцы, пропитавшей обоих за годы, потраченные между полок сантехники и фурнитуры. Сам не позволяя себе лишних движений за игрой, он запретил им вертеть головой и топтаться, отрегулировал локти и высчитал должный наклон к подающим билеты на входе; вместе с этим он не мог растолковать им, о чем эта неукоснительность и в чем ее помощь для общего дела; они не противились, когда он водил их руками и подтаскивал за подбородок, позволяя лепить из себя, что ему было нужно, но, как только Никита пытался оговорить, для чего совершается эта морока, костенели всем телом и каждой мышцей лица. Этот провал лишний раз утвердил его в вере, что слово не значит почти ничего, если не подкреплено ни напевом, ни видеорядом; или дело было просто в том, что ему не стоило изображать учителя смысла даже перед этими двумя. Он вспомнил, как глупая и вся давно больная мать, перед тем как уехать на первом автобусе, как когда-то на свой синильный комбинат, наказала ему «не зарываться»; в те скомканные минуты Никита не стал ничего переспрашивать и так и стоял перед ней со стеклянной улыбкой, пока наблюдатели из «Аорты» сверяли листки. Почему из всех слов она на прощание выбрала эти, он и сейчас не особенно мог объяснить: сын не носил в дневнике замечаний, не волочился за девочками из серьезных семей, радовался обычным подаркам и не насмехался над тем, что показывали в телевизоре; кажется, он был скучный ребенок и матери не было с ним никогда интересно, даже в отпуске, когда она могла не ложиться в половине девятого. Химия отравила ей пальцы и кончик носа, окрасив их в цвет палой листвы; что-то еще произошло с волосами, из-за чего она стриглась уродливо коротко, но он не запомнил, как это называлось. Скучая, она не мешала ему ни в чем и не гнала гулять и к друзьям, сколько бы он ни просиживал над клавишами, и Никита был благодарен ей за терпеливость: он знал уже тогда, что мать не ждет от него ни триумфов на областных смотрах, ни заработков с чужих свадеб, ни хотя бы заслуживающей сочувствия музыки, и не мог обрадовать ее ничем, кроме выздоровлений от вечнотяжелых ангин.

До четырнадцати он был ее совершенная копия, после остались глаза и голос; в телефоне их путали вплоть до разъезда. Он считал теперь, что ей было достаточно этого сходства, чтобы не понуждать его к большему все их общие годы; сыновья ее подруг были как на подбор обороты с условными сроками за неуклюжие выходки, горбуны и ханыги, лечимые по несколько раз в год, а в перерывах ночующие по подъездам и паркам, но это не прибавляло ему заметных очков. Те из них, кто дождался событий, были распределены в изоляторы, и Никита не мог

сомневаться, что, если бы не непреклонность ставки, матери отправились бы вместе с ними на тот же паек; это было почти что смешно, словно вытасненный из горящего дома бросался обратно в огонь за телепрограммой на остаток недели. Тетя Таня, уехавшая вместе с мамой, сидела в автобусном кресле окаменев, как Сехмет: маленькие руки лежали на бедрах ладонями вниз, а лицо было так далеко, что Никите стало не по себе; ее неизлечимый Славик, сборщик пластмассы, был переведен в изолятор сразу из шестидесятой больницы, и она после смены приходила к воротам просить о свидании, но добилась только пейнтбольного выстрела выше колена. В предыдущие годы она втаскивала его на себе на их пятый этаж и, наверно, взялась бы нести его так всю дорогу за полосу, если бы ей предложили, и дальше, сколько будет нужно, пока не лопнет сердце; и этот дурной круговорот ничем не оправданной муки, жернова, запущенные столетия назад, угрожали им куда страшнее, чем раннее бегство ретейлеров и отключенные банкоматы. Разлад обычных удобств, обнуление их, белая пустота супермаркетов и молчание разоружившихся касс обещали им новую землю, детский праздник на свежерасчищенном месте, а здесь, в автобусе, стояла смертельная тяжесть, выдававшая все; Никита держался внутри совсем мало и вышел наружу оглохший, как из-под глубокой воды. После того как колонна отправилась, он не глядя спустился от вокзала на фонтанную площадь, непривычно безлюдную для этих дней, только несколько тихих алголевцев изображали на камеру увлеченный воркаут на лестницах и малый отряд интернированных налоговиков занимался приборкой на дальнем углу. Усыпляемый мышьяком от юношей, он попробовал вспомнить о матери что-то, чего давно не вспоминал: за кого она голосовала на думских, какой пила сок за столом и что курила до того, как бросить; все это, без сомнения, было где-то запечатлено, но отказывалось возвращаться и стояло спиной к нему, будто в кино. Привыкая, Никита развел руки в стороны посреди исчезающей площади, и от поднятых рук она показалась ему так огромна под солнцем и так хороша; запрокинув затылок еще, он по очереди повернулся ко всем четырем сторонам ее, охваченный мысленным трепетом, благодарный за все.

На обед привезли рапан из *Les Réverbères*, копны рукколы с редкими струпами сыра и черемуховый лимонад, а в буфет спустили четырнадцать ящиков левобережного брюта; этого было заведомо мало, и Никита со зла застучал в пол мыском, но не стал выходить и высказываться; уже давно хотелось есть, и он сел вместе с распорядителями за низкий стол, взятый в фойе. Выждав, пока он сделает первый глоток, Сван не совсем уверенным голосом рассказал, что в городе выставлена выдающаяся стража, странная для полуотчетной программы, с трещотками и батогами; усиление не прошло незамеченным, и к ограждению подъезда, несмотря на разыгравшуюся жару, прильнуло уже с полсотни зевак. Эта новость была ни о чем: уже несколько месяцев усиления делались без какой-либо видимой необходимости; Никите, однако, не слишком понравился выбранный Сваном подавленный тон, словно бы помещающий их в западню, но он лишь слабо помотал головой, давая понять, что рассказанное ему неинтересно. Преодолевая начавшуюся тишину, Пелым заговорил о своем впечатлении смотром разведчиков, деланном две недели назад в котловине, пока Никита был еще нездоров; что финальный костер, невзирая на предосторожности, едва не обернулся пожаром на подготовительном фланге, знали уже все, но Пелым, находившийся ближе многих к опасной кромке, теперь уверял, что, когда подгоняемый ветром огонь шарахнулся в сторону юношей и опалил рукава крайнего к себе ряда, те вначале не дернулись с места и на полшага и стояли не шевелясь, как наказанные дети, пока производивший смотр Ланн, увидев, что творится по его левую руку, не отдал команду отпрянуть. Я сказал бы, что выглядело это так, будто они ждут следующего рывка, продолжал Пелым: в неподвижности их я прочел вовсе не временное замешательство, а, напротив, прямую решимость стоять до надежного конца; и отсюда я вспомнил, хотя и не сразу, что писала в июне команда старьевщика на литейном заборе, хотя это и стыдно и я не стану повторять этих слов. Но мне дико представить, чем могли бы закончиться разоблаченные сборы, если бы им пришлось состояться; а безумный старьевщик понес что заслужи-

вал, хотя многие и огорчены тем, как все получилось, словно не предполагая, каков был бы подсчет отставных после выдуманной им засады. Пелым замолчал и положил кулаки по краям от тарелки с выжидающим видом; это было еще неприятнее, чем донесение Свана, и Никита, помедлив, выбрал веточку рукколы и заткнул Пелыму за околыш фуражки; все, кого любят без ясных причин, рискуют однажды увлечься и увлечь за собой остальных, сказал исполнитель, я же ставлю все свои песни, что нам это не угрожает. Нам здесь проще всего объяснить, почему к нам приходят: мы вложили столько труда в то, чтобы они нас любили, что подумать о большем для нас уже не вмоготу; те же, кому это выпало просто в подарок, часто не умеют остановиться: их ведет, и движение это темно и могущественно, а мы наблюдаем за ними с судорогой в желудке и болью в зубах, и, когда те, за кем мы следим, оступаются так, что уже не могут продолжать, мы испытываем некое, скажем, парение, словно утраченная ими невестомость вдруг переселяется в нас. Если же случится так, что оступимся мы, высекавшие эту любовь, как из бетона, это повиснет на пастве такой черной глыбой, что под ее весом у них не окажется сил высказать о нас хотя бы одно доброе слово; и мне хотелось бы знать, нет ли в этом какой-то исходной ошибки, которую теперь можно только что припрятать, но никогда не исправить полностью. Никита прервался и выпрямил спину и только тогда разглядел, что по щекам побелевшего Пелыма ползут маслянистые слезы: распорядитель старался не дышать, чтобы скрыть нарастающий плач. Исполнитель опомнился, с шумом выбрался из-за стола, обошел и взял Пелыма за ледяные плечи; ничего не решится за нас, наклонился Никита к мелко подергивающемуся уху, и мы здесь затем, чтобы эта неопределенность еще постояла; будем все-таки собраны, если хотим продолжения. Пелым качнулся вперед, не вырываясь из рук, и наконец зарыдал: я знаю, что жил без какой-либо правды внутри себя и снаружи, но мне было спокойнее думать, что меня везде обступает одна и та же нелюбовь, куда бы я ни пришел, и это не стоило мне ничего; сейчас же сам воздух вокруг нас так плотен и зовущ, что меня рвет на ничтожные части. Никита крепче стиснул Пелымовы плечи и не стал отвечать, заранее зная, что тот скорей стихнет сам; распорядитель качнулся еще вперед и сразу обратно, поднял к Никите хлюпкое лицо и застыл так на время, пока не просохли глаза. От расчесанных волос его отделилось бережное сияние, постояло и начало слабнуть, сереть. Когда все прекратилось, Никита, привстав для отчетливости на мыски, проговорил: хорошо, и выпустил Пелыма; тот сейчас же поднялся и стал убирать со стола.

Все же то, о чем говорил Сван, постепенно завоевало его любопытство; наказав распорядителям откатить инструмент к центру сцены, Никита соскочил вниз и, пройдя в конец зала, по черной зазубренной лестнице поднялся на технический этаж, откуда можно было втайне разглядеть подъезд. Переступая через неживые кабели, он достигнул западного окна размером с офисный лист и склонился над ним: парковая аллея, ведущая к зданию, в самом деле была переполнена хуже, чем в прошлые муниципальные торжества с бесплатной лотереей. Из-за портика он не видел, что за команда стоит на дверях; по проходу же обыкновенно прогуливались две встречные пары умлаутовцев с одной трещоткой на всех. Никита оттянул окно, желая слышать голоса, но все звуки снизу слипались в один влажный ком; преломленное солнце обжигало шею, раму пришлось притворить. Вид и шум привстающей у ограждений толпы успокоили его: это было как будто отставшая жизнь догоняла упущенного прожителя годы спустя. Литейные башни за опытным поселком казались раскалены. Заградительный аэростат, подвешенный над вокзалом, полнился все такой же насыщенной силой, что и в самом начале, сразу после того, как произошел разрушительный налет, так и не повторившийся, как они ни дожидались. Крыша пожарного гаража, спиной прилегавшего к парку, пылала, как пляж. Он никогда не любил этот город, хотя и не видел никаких других, и никогда не мог выговорить, отчего это так; но, приподнятый над ним на некоторую высоту, он слабел и почти засыпал, как ребенок на заднем сиденье, наблюдая, как истаивают и троются очертания дальних построек. На окраинах зрения мир был гибким и преодолимым, еще пробующим свои первые формы;

но вблизи был упреждающе тверд, и все вещи его развивали в себе плотность камня: Никита подумал о каменных креслах внизу и несдвигаемом каменном занавесе: в ставке сказали бы, что так проявляет себя «кость истории», до того невозможная в этих предметах и заведшаяся лишь теперь или что-то такое; это могло быть хорошей догадкой, но Никиту заботило, что музыка, тоже меняясь, оставалась все так же бескостна и внутри нее не нарастало ни стержня, ни хотя бы окольного стремечка, достаточного, чтобы подтвердить общее правило. Так он оказывался вопреки многому близок к книжникам с их студенистыми текстами, распадающимися если не от дыхания, то от первого прикосновения рук; с усмешкой Никита представил, как пожухла бы библиотечная команда, если бы он рассказал им об этом.

Уже отворачиваясь от окна, он увидел, как четверка умлаутовцев расступается перед Трисмегистовым оруженосцем, спешащим к дверям; в вытянутых перед собою руках рыжий юноша, сверху похожий на аиста, держал складной перевязанный зонт. Тогда же из-за ограждения наискосок выбросили малиновый файер, дымящий так густо, что происходящее скрылось; Никита успел только заметить, как юноша с зонтом повалился на живот, защищая инсигнию. Он опять отомкнул раму, и в щель хлынул иступленный стрекот трещотки, заглушающий крики зевак; по левой стороне, откуда прилетела шашка, разливалась забытая паника. Никита услышал, как скребет по асфальту потащенная железная секция и грохочет откинута крышка люка; в прорехах дыма шарахались руки и головы, сросшиеся в один клубок, и никто из замешанных не пытался покинуть общее облако; устроившись так, чтобы солнце его не касалось, Никита смотрел, как тела вырываются и вновь исчезают в малиновых клубах; звенья рассыпавшегося ограждения взметались и падали как попало. Сваново усиление все не решалось явиться, и он уже вздумал вернуться в зал и высмеять распорядителя, как из-за пожарных конюшен в парк вступило до полусотни эстонцев в фетровых касках; сцепившись локтями, они двигались медленно-неотвратно, как двигалась бы, снявшись с места, крепостная стена. Виноловые наколенники их блистали слепяще, и стеганные наручи прикрывали предплечья; в то же самое время над парком простерлась сирена, вначале почти снотворная, но быстро набравшая нужный голос; первыми бросились прочь выставочные умлаутовцы, бесполезные при любом беспорядке, следом спасались растерзанный разносчик сладостей, зажимающий половину лица, и два допризывника в гимнастерках, повисшие друг на друге. Прочие опомнились уже слишком поздно для бегства, и в проходящем дыму Никита увидел, как эстонцы выхватывают их по двое и вяжут спиной к спине; как всегда, все должно было сделаться быстро, и он просто закрыл глаза, не отворачиваясь от окна. Теплая слабость, подобная той, островной, опустилась на него; пол обмяк под ногами, как размокшая почва. Когда смолкла сирена и Никита разжал ресницы, ограждение было возвращено, умлаутовцы без стыда проходились внутри, а зеваки выстраивались уже в третий ряд; за это же время над поселком успело взойти продолговатое алое облачко, надорванное справа, и теперь истлеvalo, поднимаясь все выше. Он доследил за ним со смятением в груди, как за зимним паром из собственного рта, и спустился обратно в фойе, убранное павлиновыми драпировками, доставшимися от главы. Оба распорядителя с видом выруганных детей стояли вместе у дальней стены. Мы почти перестали надеяться, провозгласил Пелым, для чего эти игры в украденный праздник? Все и так стало слишком значительно; мы не находим себе места среди всех этих шуток со смыслом. Никита утешительно кивнул им и велел стать на главных дверях.

Вернувшись в зал, он нашел Трисмегистов зонт с краю первого ряда; выходило, что вольнокомандующий будет больше видеть Никитину спину, но так было лучше. Он растянулся на спине на полу рядом с пианино, прислушиваясь к зданию; гипсовый потолок наливался обморочным молоком, придвигаясь к нему и опять отходя, и в отключенной люстре по центру, висящей, как рыбная сеть, прозвывкало оживание. Все дышало само по себе, и только музыке был нужен тот, кто поднимет ее от вязкого сна; это было ее непреложное свойство, усвоенное им годы назад, но все так же его тяготившее: музыка не бралась сама собой ни из инструмента,

ни из самого воздуха, сколько бы звука ни слышалось в нем, ее всегда было нужно откачивать, как из болота, и от этой работы он все чаще и чаще ощущал свое тело насосной трубой, погруженной в лукавящую пустоту. Прошло еще время, прежде чем Никита различил под лопатками мелочный вздрог, означавший прибытие первых гостей; это было похоже на насекомый бег под нижней майкой, и он поскорей вскочил на ноги. За сценой он, давясь от пылищи, перебрал наугад старые короба и наткнулся на римский шлем с восхитительным гребнем: грузный и гулкий, как целое озеро, он внушал ему прочное чувство. Никита поднял шлем над собой, собрал пыль одной ладонью и решил, что сегодня выйдет в нем.

Четверть часа спустя Сван явился сообщить, что прибывающие скорее осторожны, чем веселы, говорят больше по двое и не стоят за шампанским; глава занимает парадное кресло внизу и не может самостоятельно встать, о чем никто вокруг будто бы не догадывается. Трисмегист привел с собой двух допризывников, уже размазавших свою тушь по щекам и портретам; выгоднее остальных выглядят, как всегда, Несс и Центавр, оба в академических куртках с оливковой вышивкой, на высоких подошвах; один Ланн наблюдает за другими с нескрываемой тоской, как будто все это происходит с ним уже в тысячный раз. Сочувствующие мятутся в парке, отгороженные двойным периметром; редкие выкрики, предназначенные, по всему, в адрес снабженцев, заглушает трещотка. Никита не стал спрашивать о Глостере и пригласил Свана помочь ему переодеться; платье без рукавов, выбранное давно, не совсем совпадало с его сегодняшней находкой, но он не собирался отказываться ни от первого, ни от второго. Они заперлись в гримерной, в духоте, умножаемой полукругом зеркал; Никита встал в середине, отвернувшись к двери, и начал расстегиваться, выставив тонкие локти. Пуговицы рубашки царапались, пальцы скользили: эти последние дни с их невысказанностями разболтали его, растрепали, как куколку; платье же должно было стянуть все заново, и он поспешил снять оставшееся, но, когда остался в одних гольфах, захотел побыть так, сам не зная зачем. Сван, принявший вещи, не выпускал их из рук. Никита на мысках прошелся к двери и толкнул ее; там шагнул в коридор и вернулся один в засценку. Шлем уселся на нем без труда, придавил затылок, и тело его колыхнулось от нового веса; не прикрытый больше ничем, он ощущал больше защиты, чем если бы Глостер и Почерков стояли по две стороны от него. Низкий звук наполняющегося зала растекался по полу; Никита чуть опустил голову, чтобы увидеть себя: ровная грудь с оспинами сосков выступала над впалым животом со вспышкой черных волос внизу; в ногах же была такая точная прямота, что это скорее кололо глаза. Когда он возвратился в гримерную, Сван уже приготовил ему влажное полотенце; Никита поднял руки, и распорядитель плотней обернул его, громко дыша. Полотенце оказалось горячим, как зимой, но ему было спокойно и почти все равно. По кивку его Сван распеленал и отер Никиту; приготовленное платье было так свободно, что он не почувствовал его на себе. Будьте прекрасны, исполнитель, прошептал Сван, прежде чем отпустить его вновь; республика заслужила это. Никита вышел из комнаты не отзываясь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.